

К Н Леонтьев

**Подлипки (Записки  
Владимира Ладнева)**

**Леонтьев К Н  
Подлипки (Записки  
Владимира Ладнева)**

К.Н.Леонтьев

Подлипки (Записки Владимира Ладнева)

Роман в трех частях

Часть первая

I

Никогда, может быть, не собрался бы я исполнить обещанное -- написать вам что-нибудь о моей прошлой жизни, о детстве моем и первых годах молодости... Но сегодня, Бог знает почему, проснулся я рано... встал и подошел к окну... Если б вы знали, какая томящая тоска охватила мою душу! На дворе чуть брезжилось; окно мое было в сад, и за ночь выпал молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы никогда не видали первого снега в деревне, на липах и яблонях вашего сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое наполнило мою душу!

Долго глядел я в окно -- вот все, что я могу еще сказать об этом утре; а потом взял перо и решился исполнить обещание...

С чего начать? Вы знаете, я теперь в той самой деревне, о которой Я вам говорил столько раз. Никто не хвалил ее местополо-

жения. Оно не живописно; но если б вы когда-нибудь зимою вздумали пронестись на тройке по нашим полям, то, верно, заметили бы частую рощу, подступившую вплоть к пустынной почтовой дороге; может быть, если бы это было утром увидали бы вы над голыми вершинами осин и берез струйки синеватого гостеприимного дыма... Попробуйте тогда завернуть в рощу; посмотрите по бокам дороги на этот лесной снег, никем не тронутый, кроме зайца; посмотрите на узоры, которые он начертил, на мелкий и аккуратный след ласочки, ходившей на добычу этою ночью...

Слышите, уж несется к вам по морозному воздуху, полному сверкающих пылинок, несется манящий к жилью дымный запах... Ближе, ближе... Вот забытый двор, по которому ходит только рыжий старик-ключник, и то по одной и той же вековой тропинке. Вот розовый дом с дикими ставнями, осененный тремя елями, вечнозелеными и вечно мрачными великанами; а там, на той стороне клен, роскошь нашей растительности: теперь вы его не отличите от другого дерева, но летом он вешает крайний сук, обремененный

листьями, на старую гонтовую крышу. Направо за ракетами небольшой пруд, летом покрытый густою плесенью, а теперь занесенный снегом почти наравне с краями.

Смотрите, как дым бодро и дружно подымается изо всех крестьянских труб... Звуков мало: лай собаки да скрип колеса на колодце под рукой девушки, раздумянной зимним утром.

Не думайте, однако, что деревня эта всегда грустна, как в нынешнее утро. Нет, мало я знал деревень, в которых бы летнее солнце освещало такую уютную зеленую и мирную красоту!

Особливо при покойной тетушке, Марье Николаевне Солнцевой, было очень хорошо у нас в Подлипках.

Тетушка была богатая и бездетная вдова-генеральша; полгода жила она в деревне, полгода в Москве, где у нее был собственный дом. Я приходился одним из прямых наследников ее с тех пор, как не стало у меня ни отца, ни матери; другие наследники были: сначала дядя, потом его сын, который служил уже в Петербурге, когда мне было всего 18

лет. Я рос у тетушки с того дня, как отец мой поручил меня ей, уезжая на польскую войну. Он там был ранен и, возвратясь, недолго жил. Тетушка была полна, ходила мало, да и то согнувшись, хотя сложения была далеко не слабого. Всегда была серьезна, но без малейшей суровости. Ни разу не случилось мне видеть у нее гневных глаз или сдвинутых бровей, но зато и улыбку хранила она для торжественных случаев.

Зимой, даже и в деревне, она носила шелковые темноватые капоты и большие чепцы с густой оборкой вокруг, а в жаркое время каждый день меняла белые блузы, под которыми так гремели крахмальные юбки.

В хозяйство она много не входила; особенно в полевое (для этого у нее был приказчик из своих крепостных), но не терпела нечистоты в доме и саду и многим в жизни усадьбы своей интересовалась. В Петровки, например, когда наставала веселая пора сенокоса и барщина собиралась в сад трусить под окнами сено, тетушка садилась к открытому окошку почти на целый день и наблюдала за работой и за нарядами баб, которые в наших краях на

сенокос одеваются, как на праздник.

-- Ах ты матушки! -- восклицала она, обращаясь к своей компаньонке и нисколько не меняясь в лице при восклицании.-- Ольга Ивановна, посмотри, та сhere ... Какой Парашка надела платок! Это ей брат подарил... брат из Алтаева...

-- Почему же вы думаете, что это брат? Может быть, муж? Это гораздо натуральнее,

-- возражает Ольга Ивановна и, достав лорнет, смотрит в сад.-- Может быть, муж! -повторяет она, окидывая взорами Парашкина мужа.--Посмотрите, какое у него прекрасное лицо!

-- Он такой грубый! -- говорит тетушка.-- Где ему, та сhere! Это брат; я знаю наверное, что брат ей купил... В запрошлое воскресенье Февроньюшка говорила мне, что видела самого Павла на торгу. Платок, говорит, купил парчовой, алый с золотом. Парашка, а Парашка! поди сюда!

Парашка подходит и кланяется.

-- Здравствуй, мать моя; кто тебе платок дал? Ишь вырядилась как! Парашка хохочет, закрывая рот рукой, на которой блестят се-

ребряные и медные кольца.

Тетушка ждет; но Ольга Ивановна принимает суровый вид.

-- Прасковья! ты глупа,-- замечает она.-- Хотят тут не у места. Ты должна отвечать барыне на вопрос. Ты не дитя!

Парашка смущена.

-- Э! та chere, pourquoi? -- шепчет тетушка.-- Парашка, да скажи же, матушка, кто тебе это дал?

-- О-о! да брат же! -- восклицает Парашка игриво, откидываясь назад и снова поднимая руку к лицу.

Парашка отпущена, и тетушка торжествует.

-- Я говорила ведь, что брат! Февронья выдумывать не станет... С какой ей стати!

-- Il est tres riche! -- прибавляет тетушка, помолчав, и совсем другим голосом. Но больше всего на свете тетушка любила сказки. Каждое послеобеденное время ложилась она на диван и задремать иначе не могла, как под звуки какого-нибудь рассказа. На ночь делалось то же непременно.

Во время моего детства была у нее для это-

го Аленушка-сухорукая, сорокалетняя горничная, худая, бледная, с красным носом и очень строгой нравственностью. Аленушка была очень добра ко мне, и я сам не раз наслаждался ее красноречием по зимним сумеркам, когда она грелась, сидя на лежанке в угловой комнате, в той самой любимой моей комнате, которую звали еще с дедовских пор диванной и где я теперь устроил себе кабинет. В самом деле, комната эта всегда весела: в полдень нет светлее ее во всем доме, потому что окна ее прямо на юг, а зимним вечером, бывало, в старину затапливалась в ней печка, наполнявшая ее таинственно колыхающимся сияньем. Сиянье боролось с мглой надворья, и все предметы скоро получали смешанный, прыгающий, волшебнo-одушевленный вид. Тогда Алена оставляла чулок, который она вязала очень искусно, не сгибая засохшей руки, надевала синюю кацавейку с беличьим мехом и садилась на лежанку, где и болтала ногами до тех пор, пока жар не стонял ее долой. Тут-то я, бывало, прибежал к ней и требовал сумереничанья, то есть потрясающих душу рассказов. Особенно помню я одну сказку про

Кривду и Правду, которую рассказывала мне Аленушка, как Кривда жила и жила Правда. Правда была добрая женщина, а Кривда злая. Правда была бедна и, нуждаясь в хлебе, просила его у злой женщины. Та ее накормила, но за каждый ломоть выкалывала ей по глазу. Однако это не принесло никакой пользы завистнице, потому что один прекрасный царевич, гуляя с меньшими братьями ночью в лесу, нашел Правду на сосне (она слепа не знала, куда деться), приходил с той ночи сам мазать ей глаза три утра сряду росой, возвратил ей зрение и потом женился на ней.

Когда же Кривда вздумала тоже выколоть себе глаза и забраться на дерево, надеясь на меньших царевичей то судьба наказала ее: царевичи посмеялись над ней и она умерла с голоду в лесу, где тело ее растерзали волки. Одно только обстоятельство в этой сказке затрудняло мое воображение.

-- Аленушка! -- спрашивал я, -- и ей ужасно страшно было на сосне?

-- Уж конечно, голубчик мой, страсти не обралась!

-- А как же, Аленушка, этот принц женился

на ней? Она ведь была простая женщина, ты говоришь?

-- Что ж, мой голубчик, что простая? Она была лицо красавица!..

-- А ты зачем же говоришь, что она женщина и бедная? Я думал, что она такая, как странница Авдотья Васильевна, в черном платочке с белыми пятнышками. Женщины всегда в платках ходят...

И долго преследовала меня мысль о старухе, сидящей на сосне. Подойдешь, бывало, к окну, поднимешь штору, чтобы взглянуть в сад -- а тут, как нарочно, такая темнота и большие ели у входа близехонько от дома. Тем более мне все это памятно, что тетушка очень часто спрашивала меня поутру, что я видел во сне, и, тогда я отвечал, что приходилось, тетушка обыкновенно гс ^Р' вала:

-- А я видела во сне, что мой нос сидит на сосне, а твой хохочет, туда же хочет...

С Аленушкой я расстался на одиннадцатом году, когда покойный дядя Петр Николаевич взял меня к себе. Он был тогда вице-губернатором в одном из восточных городов и хотел приготовить меня к университету под соб-

ственным надзором. Возвратился я по семнадцатому году. Аленушка без меня умерла, а тетушка, всплакнув об ней, заменила ее молодым парикмахером, вернувшимся из ученья, парикмахером и по наружности — красивым brunetом с завитыми висками. Он всегда описывал похождения Ивана-царевича, который женился на лягушке, оттого что, выстрелив из лука, попал в болото, а оттуда вышла волшебница (или, по словам Платошки, волфа) в виде лягушки, со стрелой во рту. Кроме того, тетушка без меня взяла компаньонку, Ольгу Ивановну Петрову, очень ученую девушку и пианистку. Но об ней подробно я скажу вам после. Все заведено у нас было по-старому: не красить яйца к Пасхе, не перечистить всю мебель, образа и весь дом в чистый четверг было невозможно. В день святителя Мокия приходили священники служить молебен от града, и тетушка, в белой кофте, в белой мантилье с оборками, молилась горячо на водосвятии, и после шли мы и народ за нами в поле и у межевых столбиков закапывали скляночки со святой водою в землю. Как блистали ризы священников тогда на дворе, у

колодца, как сверкали образа и кички наших баб, которых я почти всех знал поименно! Как празднично раздувались оборки тетушки, и мантилья ее тогда надувалась, как парус, если набегал ветерок! Она кланялась в землю, когда дьякон молил "о благорастворении воздуха и об изобилии плодов земных"...

И я думал тогда о благорастворении голубого воздуха а тоже кланялся в землю. Я никогда не мог подъезжать к этой деревне без волнения, и теперь ничто здесь не утратило для меня смысла; но сила ощущений моих ослабела от времени и повторений- Мухи по-прежнему спят зимой между двумя пыльными обломками стекла в окне маленькой комнаты около залы, в которой я прежде всегда ночевал. Печки, и душники все те же; все так же в одной комнате на антресолях клочками висят обои и видны обнаженные бревна стены с сучками и жилами. Была пора, когда я мог час и два сидеть этой комнате и разговаривать с воображаемыми соседями, которых имена раскидывались кругом. Разные желтые пятна дерева на ободранной стене были для меня и имена их, и планы имений, на

которых кружки сучков обозначали дома. Фамилию соседей производил я от формы пятна. Одно, например, напоминало мне чудовище, которое я видел в мифологической книжке, то самое, что испугало лошадей Исполита, владелец пятна поэтому звался Зверьев, другой был Колоколов, третий Сквородкин. Любимый же мой, не знаю почему, звался Ныков. Лицо его я никогда вообразить не мог, но беседовал с ним много. Тогда я был семейный человек: у меня было 40 детей; дочери: Орангутанушка, Заира, Фрезочка, которая утонула однажды в Ганге, Ольга, Надя и много других. Сыновья все были военные, один только был статский. Имя его было Дюсюк; я терпеть не мог его гражданской фигуры и куклу соответствующую этому представлению (она была в черном фраке и привезена была самой тетушкой из Москвы) бросил в камин. Тетушка схватила ее щипцами и сказала: "За что ж ты это бедного Дюсюка швырнул?". До какой степени мне стало жаль Дюсюка, до какой степени жаль тетушки, обиженной в его лице, до какой степени меня еще долго после этого грызло раскаяние -- я передать не могу. Куда

ни обернусь я, везде дышит передо мной предание или собственная память оживляет все. Заверну я а ворота и посмотрю налево, на пруд, покрытый снегом, там над сухой вершиной, в которую переходит пруд, стоит нагнутый столетний дуб, разодранный пополам. Одна половина его разодралась и упала в ров в то время, когда еще мне было семь лет, не от грозы и не от ветра, а в самый жаркий, тихий июльский полдень... Какой величественный гром огласил нашу тихую усадьбу... Как долго ты ходили смотреть на эту упавшую половину и думали подбегая под дубом: "Что, если бы мы были здесь в то время, когда он упал?" Вот на поле перед усадьбой высокий вяз. Говорят, что надо смотреть в полдень на тень его и рыть в том месте, где она кончается. Тут, говорят, зарыт огромный клад; но никто не трогал его.

В большом саду нашем, которым мы гордились перед всей окрестностью, много липовых и старых березовых аллей. В липовых хорошо, когда жарко, а в самой длинной из березовых аллей, когда осенью шумит ветер и гонится за мной, вдруг вырастая на верхуш-

ках, я слышу в этом шуме всякий раз много знакомого, много особенного, чего я не слышу в ветре других деревьев и чего не могу теперь выразить вам...

В саду есть также посредине круглой сажалки курган. С курганом этим связано кровавое предание. Владелец, У которого покойный тетушкин муж купил Подлипки, был суров и самовластен. Он заставил обратить болото в круглую сажалку и насыпать курган. Крестьянам показалось трудно, и некоторые убежали. Вскоре после этого он был задушен в постели.

Я долго не верил, что такое страшное дело могло случиться в наших Подлипках. Курган теперь покрыт высокими деревьями клена; сажалка обросла по берегам лозняком, а на вершине кургана стоит памятник из дикого камня с вазой наверху. На нем написано: "Праху друзей", и около него девицы, жившие прежде в Подлипках, хоронили своих собак, котят и птиц.

Не сердитесь за эти описания, не думайте, что я хочу хвалить одиночество. Нет, мое временное одиночество случайно и незлобно.

Все, что двигалось и дышало здесь, плакало и веселилось -- дорого мне, и о людях-то, о прежнем многолюдстве я хочу вам говорить гораздо больше, чем о самом себе. Прощайте, до другого раза. Мне хочется рассказать вам историю моей первой любви. Страсть в ней длилась недолго, всего дней пять; но это было первое истинное чувство в моей жизни.

II Лет десять назад я был студентом первого курса и сбирался летом домой. Приехали за мной свои лошади с тарантасом, и пришло письмо от тетушки. Оно было писано не ее рукой; почерк казался почти Детским, но ошибок попадалось не слишком много.

После разных ласковых названий, после поручений, советов, просьб не задерживать лошадей следовала приписка.

"Маленький секретарик мой тебе кланяется -- Паша, отца Василия покойного дочь; ты ее, верно, помнишь. Она помнит тебя и говорит, что ты ее раз хотел было совсем притузить; такой всегда был турухтан-повеса, а я совсем стала слепа: все она мне пишет. Целую тебя, душа моя. Да хранит тебя мать Пресвятая Богородица. Тетка и друг твой

Марья Солнцева. Р. С. Не забудь, ветрогон, хороших гвоздей купить". Я очень был рад, что в Подлипках есть новая молодая девушка. Ей должно быть лет 17-ть. В детстве она была недурна, бледна, опрятна, ходила всегда коротко остриженная и носила сетку. Отца ее я также забыть не мог. Он был у нас приходским священником и духовником всей нашей семьи. Я помню его высокий рост, худое, бледное, кроткое лицо, белокурые кудри и мелкие морщины на лбу -- от привычки, часто задумываясь, поднимать брови. Помню также, как приезжал он по великопостным вечерам служить у нас всенощную. Собиралась семья в длинную белую залу, освещенную только на одном конце церковными свечами, и что за томительный восторг охватывал мою душу, когда высокий отец Василий, на полнив залу кадильным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа, начинал звучным, густым, возрастающим голосом: "Се жених грядет во полунощи!" Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то таинственный Божественный жених среди ночи...

Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание всех других комнат... самый ландшафт в огне, освещенный месяцем, зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, пустынная, обнаженная аллея, пропадаящая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о безлюдности огромных полей... Из родных кто молится усердно на коленях, а кто, прислонясь к стене, вполголоса поет за священником; сзади люди громко кладут поклоны, вздыхая... Еще помню отца Василия в минуту моих тогдашних исповедей, когда я, наклонившись под эпитрахиль его, от которой всегда так хорошо пахло ладаном, слушал, как он отпускал мои грехи, и прибавлял иногда, погладив меня по голове широкой, но чистой рукой: "Иди! Бог с тобой... Душа-то, я знаю, у тебя добрая!" Отец Василий тогда не был еще стар, лет 47 всего, умер он, когда мне был 14-й год, около самых Петровок, не знаю, от какой болезни. Тетушка, Марья Николаевна Солнцева, которая уважала его глубоко, говорила мне, что, за несколько часов до смерти, он велел себя вынести на кровати в пчельник, который страстно любил.

Я сам помню, как он описывал немного книжным языком любимых животных своих, утверждая, между прочим, с улыбкой, что матка столько же похожа на де-вицу, сколько трутень на мужичка.

Рассказывали тоже у нас о женитьбе отца Василия. Обыкновенной рассказчицей была сама тетушка, которая всякий раз (хотя бы в 20-й) почтительно наклоняла голову, как будто сам отец Василий стоял перед ней в ту минуту. Еще семинаристом влюбился он в свою Анну Ефимовну. Дочь богатого протопопа и слышать не хотела о деревенской жизни, о платке вместо чепца. Она привыкла ходить в барские и чиновничьи дома, не работать и ни о чем не хлопотать; но скромный и красивый блондин играл хорошо на скрипке, был покорен и очень понравился ей, несмотря на длинный оливковый сюртук. Она соглашалась идти за него с тем только условием, что он наденет фрак гражданского чиновника. Увлеченный любовью, молодой человек решил взять на себя грех обмана; он дал ей слово быть светским, женился -- и через несколько месяцев после женитьбы посвятил

себя духовному званию. Он тяжело заплатил всей жизнью за эту женитьбу и за первые сладкие минуты: Анна Ефимовна терзала и грызла его.

-- Представь себе, дружок мой,--говорила еще не так давно покойная тетушка,--представь себе, как он хорошо чувствовал свой грех. Бывало, придет такой убитый, что Боже упаси; начнем дружески его уговаривать. Конечно, я догадывалась, что его эта негодная баба беспокоит. "Нет, говорит, Марья Николаевна, я согрешил перед Господом и благодарю небесную милость Его, что Он в этой жизни меня наказует, а не в той... В этом я Его милосердие вижу". "Да ведь вы, Василий Иванович, посвятились?" - скажешь; так нет, mon cher, ни за что! Дорогой

"Не должно было жениться мне на ней, обманывать; она не к такой жизни была воспитана". Видишь, какой был? Такую тонкость вдруг скажет, что и не найдешься отвечать ни за какие блага в мире. Я уже старалась всегда ей дарить и ситцы, и материю, и домашнюю провизию, чтоб она не ершилась на него. Он-то сам такой труженик был; сначала

и пахал, и косил, и все. После я уж, ты знаешь, освободила его от этого. Возможно ли это -- прямо с поля в церковь? С зари человек над сохой, едва руки успеть помыть: разве с такими мыслями он должен приступать! Бывало, сам каялся мне вначале, пока я не назначила ему всю провизию, что во время службы у него иной раз и то и се на уме, когда видит, туча на небе заходит или что еще. А эта такая скверная женщина! Колотовка такая! Анна Ефимовна подлинно была настоящая колотовка. Не знаю, что нашел в ней отец Василий; быть может, вначале она была мила и привлекательна; теперь же просто ненавистна: круглое красное лицо, наглые глаза, кружева на чепце развеваются, и, ко всему, несносная страсть к болтовне, кривому употреблению выражений, наворованных из дворянского словаря, и сплетни, сплетни без конца... И все пронзительным голосом. Иногда скажет бессмысленную фразу, а улыбка плутовская. Паша, еще шестилетний ребенок, приходит жаловаться, что младший брат отнял у нее сахар.

-- Ах, мой друг! какая обязанность! -- возра-

жает мать кротким голосом, а сама под столом грубо толкает ребенка рукою в грудь.

А то вдруг остервенится... В тот приезд мой к тетушке, которым я начинаю историю наших отношений с Пашей, тетушка имела неосторожность полушутя пожаловаться попадье на Паш) за то, что она мало стала читать с весны.

Анна Ефимовна как завизжит вдруг: "Ах ты, тварь негодная! Ах ты, наказание Божие за грехи мои! Ты должна, тварь ты этакая, помнить, что их превосходительство, можно сказать, тебя балуют! Что ты такое? Сирота, голь, тварь" и т. п. Тетушка даже совсем растерялась: сидит и катает в комок носовой платок. С 11-ти до 20-ти лет прошло столько времени, передумано было столько, что об отце Василии почти никогда и не вспоминалось; но теперь, думая о Паше, я вспомнил и о нем с большим чувством. Вероятно, не для всех он был тем, чем был для меня. Другие его знали ближе, были старше меня, когда он был жив, могли подметить что-нибудь. Я даже нарочно выспрашивал, но ничего дурного о про него не узнал. Он служил хорошо, к крестья-

нам был, говорят, добр, не бранил их, как другой сосед наш, отец Семен, не бил крестом по лицу, когда мужики прикладывались толпою (одно только я заметил еще ребенком: пока мы прикладывались, он держал крест обеими руками и наклонялся немного вперед, а когда начинали подходить крестьяне, он выпрямлялся и спокойно держал крест в одной руке). Никогда не слышал я от него про крестьян того, что говорит отец Афанасий, тоже соседний священник: "Мужик -- бестия; с ним держи ухо востро!" Одним словом, до меня не дошло об нем ничего дурного. Паша с малолетства считалась умницей в детском смысле. Тетушка несколько привязалась к ней с тех пор, как была без меня больна горячкой. Удивительно, что в самом деле девятилетний ребенок так хорошо умел угодить ей всем: и лекарство вовремя подавала, и завязывала, что нужно (только всего раз и толковали ей). Тетушка пришла, наконец, в память и стала скучать, лежа в постели; тогда Паша вздумала плясать перед нею и рассказывала сказки, когда сухо-рукая Аленушка была занята или отдыхала. Когда же, во время моей жизни у дяди, скон-

чалась Аленушка и тетушке надоела лягушка со стрелой во рту, которую бросил Платошкин искатель приключений, Паша была приглашена на постоянное житье в дом, и ей назначено было особое жалованье из инбирного киевского варенья, пастилы и смоквы, да сверх того по четыре платья в год -- все за ежедневные рассказы или громкое чтение, когда Ольга Ивановна была нездорова или занята.

Паша читала порядочно и стала через год читать хорошо; читала старушке газеты, анекдоты Балакирева и путешествие ко святым местам. Пастила и смоквы отпускала тетушка для Паши исправно, но инбирного варенья так она и не добилась.

Каждую субботу тетушка ходила, согнувшись, в конторку, приказывая Паше идти за собой. Паша так и думала, что вот-вот велит Марья Николаевна достать банку. Нот и нет! Заговорит сейчас о другом, велит влезть на лестницу, счесть, сколько сахарных голов на третьей полке, начнет рассматривать гнездо в уксусной бутылки или пошлет за горничной, чтобы счистила с окна паутину, и долго бра-

нит ее и обещает настукать дурацкий лоб за то, что забыла для этого прийти, когда раз навсегда приказано приходиться в субботу. Девка заплачет и пойдет, а тетушка долго смотрит вслед и на другой же день подарит ей ситцу или шерстяной платок, прикажет только не модничать, а поступать по-старинному, т. е. носить его по будням наизнанку. Та благодарит, тетушка грозитя в следующий раз непременно настукать лоб и, обратившись к кому-нибудь из нас, заметит серьезно. "C'est une tres bonne fille!"

А у Паши все-таки нет инбирного варенья! Паша поселилась в первый раз в Подлипках через полтора года после моего отъезда к дяде, а по возвращении моем оттуда, когда мне было уж 17 лет, я опять не застал ее. Родная тетка Паши, губернская чиновница, взяла 15-летнюю девушку к себе, в надежде выдать ее выгодно замуж, как только созреет; но это не удалось, и Паша опять у нас.

Все это я, собираясь домой, припоминал с удовольствием и уж спрашивал себя - понравлюсь ли я ей или нет? Надеялся понравиться? Нравиться нужно всем женщинам. Что за

жизнь без этого?!

III В этот год Вознесенье пришлось поздно.

Сторона наша глухая, и соседей у нас мало; однако прежде, когда дом был оживленнее, на Вознесенье у нас всегда бывали гости; в это ж лето никто к нам не ездил, кроме отставного капитана Копьева и его дочери, Февроньюшки. Да и они не ездили, а ходили, потому что Лобанове, в котором у них домик, крытый соломой, и четыре двора,-- всего полторы версты от Подлипок. Их никто у нас и не считал гостями. У капитана, кроме фуражки с красным околышем да седых усов, подбритых до половины, нет ничего воинственного. Трудно держаться от улыбки, когда он вдруг, точно проснется, сделает страшные глаза и сейчас же опять успокоится или когда он, рассказывая, уставится на вас и скажет: "Что вы смеетесь -- ей-богу, право, так!" Февроньюшка никогда не имела телесной молодости: всегда была желта, нос луковицей и на висках примазаны колечки; но молодость сердца она хранит до сих пор и готова всегда хохотать до слез от вздора; но теперь ее смех неприятно действует на меня; из людей, с которыми она

в старину смеялась, столько нет на свете, столько судьба разбросала в разные стороны, столько душевно разъединила

— а она все та же!

Мы ездили в коляске шестериком к обедне в то село, где жили родные Паши, и привезли ее с собой.

После обеда крестили кукушку. Вы едва ли знаете, что значит крестить кукушку. У нас в Подлипках, в старину, каждый год крестили ее в день Вознесенья после обеда. Соберутся все дворовые и пойдут в рощу, к орешнику. Здесь тогда было много молодых березок (теперь они уже высоки), а в тени позднее, к середине лета, расцветает лиловый цвет кукушкиных слезок; около Вознесенья едва видны листья из земли, но после, возрастая, они покрываются черными пятнами, заслуживавшими название слез. Я не знаю, откуда взялся этот обычай. Мужчины остаются почти всегда около опушки; кто-нибудь из них готовит небольшой костер для яичницы, которую надо жарить, а девушки и женщины бегут в рощу искать корешок кукушки. Корешок этот беловатый: у него есть обыкновенно две

длинные ножки и другие придатки покороче. Если в толпе женщин есть беременные, они загадывают на этом корешке, кто будет у них, мальчик или девочка.

Корешок с небольшими листьями найден; все бегут назад и, одевши корень в юбку из куска ситца или кисеи, вешают его под сводом двух молодых березок, согнутых и связанных между собою верхушками. На куклу надевают крест, а на березки накидывают большой платок, под которым должны целоваться кум с кумой три раза. Рассказал, кто была Паша и почему ее присутствие в Подлипках занимало меня. Характер ее мне самому не совсем ясен. Кажется, в ней было много нежности и добродушной чувственности. Я помню, бывало, тетушка влачитя чрез девичью или через угольную комнату, в которой Паша вышивала. Паша если и не занята, то при встанет чуть-чуть, нехотя, и сделает жалобное лицо. Это очень шло к ней. Ростом она была невелика, увальчива, бледна, но бледностью свежей, той бледностью, которая часто предшествует полному расцвету. Иногда, побегавши, поспавши, сконфузившись или просто

пообедавши, она чуть-чуть зарумянивалась. Волоса у нее были светлые, как лен или как волоса деревенских детей, улыбка мирная, взгляд жалобный, усталый.

Развернуться ей было негде, или, скорее, она была из тех созданий, которым суждено быть поэтическими только в пору расцветания, которым не дано никаких особых сил на украшение зрелых годов. Я знаю наверное, что она была нежна душою. Я не говорю о себе -- что за диво быть нежной к юноше, который понравился! Но с Февроньюшкой капитановой связывала ее тесная дружба, она часто уходила в Лобаново: не раз сиживала на коленях у Февроньюшки и ласкалась к ней, объясняя мне после, что Февроньюшка ее ужасно любит и ужасно за нее боится. Впечатление, оставшееся мне от нее, так летуче и быстро течно, что я едва ли слажу с словами. Вот что разве для дополнения портрета... Однажды, гораздо спустя, уезжал я часу в 8-м утра с деревенского свадебного бала, довольно веселого, как видите--он длился до полного восхода солнечного. Случилось это летом, и утро было росистое. Крестьяне уже работали в полях,

там и сям; кучер мой остановился что то поправить верстах в трех от места праздника, а я кстати вышел из тарантаса, чтоб надеть пальто вместо фрака и лечь спать поспокойнее. Незнакомый мне помещичий сад выходил редкой березовой аллеей, частоколом и канавой на пустынную дорогу. Взглянув нечаянно на глину канавы, я заметил стелющуюся ветку с белыми цветами, похожими формой на садовые *belles de nuit*. Машинально, лениво, сам не зная зачем, нагнулся я, сорвал цветок понюхал. Белые цветки были чуть подернуты розовым внутри и пахли слегка горьким миндалем, разливая и кругом этот запах на несколько шагов... Я тотчас же вспомнил Пашу: она мелькнула тоже на заре моей молодости без резких следов, но подарила меня несколькими днями самой чистой, самой глубокой неги и тоски. Я вместе с людьми пришел пешком в рощу крестить кукушку, а тетушка приехала в четырехколесном кабриолете.

Очень мне хотелось попасть в кумовья Паше, но я стыдился. Тетушка помогла мне. Она совсем не хотела, чтоб мне пришлось Бог зна-

ет кого держать за руку и Бог знает с кем целоваться.

У нас был в комнате кабачок, ровесник мне. И у него, и всей семьи его была на руках такая толстая кожа, что ее отмыть было совсем невозможно. С детства и потом у него всегда трескалась эта кожа. Тетушка, когда еще мне было лет десять, смотрела раз, как люди водили хоровод. Я хотел участвовать, и она не запретила мне, только закричала девушкам: "Смотрите, чтоб Гаврюшка не брал его за руки!" Подобное чувство, вероятно, заставило ее теперь скомандовать: "В первой паре Володя и Паша". Мы стали и крестили кукушку. После этого пели песни, съели яичницу и вернулись домой. За ужином Паша, потупив глаза, сидела около меня, и мне было приятно и неловко. IV

Недели две прошли после этого без всяких перемен, первая радость остыла, и бездействие начало томить меня. Что же, наконец, буду ли я любим или нет? И когда я буду любим, и скоро ли, и кем? Что делает Паша? Паша вышивает одна в диванной. И вот я у пальцев. -- Правда это, Паша, что ты скоро

уедешь?

-- Маменька хочет меня опять к тетеньке увезти. -- Зачем?

-- Не знаю. Маменька скучает одна ездить.

-- Это скверно. Пожалуй, тебя отдадут там за какого-нибудь противного замуж. А я бы еще раз хотел бы тебя поцеловать, как тогда под платком. Я, кажется, влюбился в тебя...

Паша покраснела и молчала. В эту минуту вошел мой камердинер Андрей, и я отскочил от пяльцев.

-- Экие вы приткие, погляжу я на вас! -- заметил он, погладив усы. -- А Ольги Ивановны здесь нет?

-- Ты видишь, что нет. Однако Ольга Ивановна пришла и вовсе помешала мне продолжать. Дня два после того не было случая наедине поговорить с Пашей. По утрам я иногда немного занимался. Я пробовал переводить кой-что прозой из Шиллера назло одному зрелому московскому знакомому, который уверял меня, что в 20 лет невозможно понять ни Шиллера, ни Гете.

Возвышая себя этими трудами перед строгими вопросами, которые задавало мне мое

же самолюбие, я немного отводил душу, слишком полную нетерпения для однообразия окружающего ее быта. Человеку, понимающему Шиллера, казалось, можно было извинить многое.

Немецкая поэзия, к несчастью, действовала на меня в 20 лет точно так, как в 17 и ранее набожность, внушенная теткой. Бывало, помолишься усердно, постоишь у ранней обедни, попустишься, положишь поутру несколько земных поклонов, сочтешь себя квитом с совестью и ободришься после этого до того, что нагрубишь кому-нибудь, или разругаешь слугу, или даже побьешь какого-нибудь мальчишку. Тетушка с Ольгой Ивановной собиралась ехать в гости за 10 верст, а я переводил "Der Abend" из Шиллера. Тетушка уехала, и я уже кончил перевод. Час, должно быть, был 9-й в исходе, когда я решился взбежать наверх, пользуясь тем, что люди ужинали. Сначала я в темноте не мог ничего разобрать. Паша перевесилась на окне, отворенном в сад, и была прикрыта занавеской. Когда я отыскал ее и молча обнял одною рукою, другою облокотясь около нее, она сказала: "А тетюшка, верно,

скоро уж будет?" -- Какой вздор! Она ночует там. - Мне она ничего не сказала.

-- Ночует. Вроде этого был весь разговор. Еще помолчав, я поцеловал ее в лоб; но милая девушка сама протянула мне губы и, улыbnувшись чуть видной в темноте улыбкой, спросила:

-- А что, если б Ольга Ивановна увидала? -- И след за этим поцаловала меня так крепко, что я вышел из себя.

Я просил ее прийти на садовый балкон, когда все улягутся. Боясь ее обидеть, я прибавил, помнится, что ночь будет месячная, что мы только посидим, погуляем и поговорим.

Паша согласилась. Вы, может быть, не поверите, что вечер был лунный, однако было так... Я встретился с нею еще раза два до ночи.

Я оставил ее в первый раз наверху и долго ходил по двору взад и вперед. О чем я тогда думал, не знаю, но, вспоминая свою беспокойную судьбу, полагаю, что недоумение боролось во мне с надеждой. Однако она еще прежде срока сошла на заднее крыльцо и, севши на ступеньки так, что розовый длинный фартук ее был виден издали, стала петь...

Я продолжал ходить и слушать, пока она не удалилась. После, когда уже пробило половина 11-го в зале, я был готов сойти, потому что лег на постель в сапогах и халате.

Я вышел, перешагнув через Федьку, который ночевал в хорошие ночи на переднем крыльце, и пробрался в сад к балкону.

Паши не было, но над навесом балкона было открыто окно в спальне Ольги Ивановны, и я ждал недолго.

Паша сперва повисла на окне, посмеялась тихонько оттуда, сделала какие-то знаки и, скрывшись, скоро явилась из-под сирени сбоку. - Откуда это ты? - В лазейку пролезла, около заднего крыльца.

-- А через калитку отчего не прошла?

-- Как можно! У калитка Егор Иваныч спит -- знаете, на чем он спит?

-- На чем?

-- На щиту на соломенном.

-- Так что ж?

-- Так это я говорю... Где ж мы сядем? На балконе я боюсь, -- продолжала Паша,

--пойдемте на траву за балкон.

На траве было очень сыро, и крапивы на-

билось много в углу, между балконом, концом стены и сиренью.

Мы хотели сидеть долго и спокойно. Паша вспомнила о щите, который лежит иногда для караульщиков на балконе.

Мы его взяли и, разостлав его, сели в сыром углу, на который из-за высоких груш светил полный месяц.

Мы много целовались и говорили о житейском. Паша жаловалась на мать.

— Она всегда бранит меня. Господи Боже мой! И что это я сделала ей? Вот тятенька, когда еще был жив, так очень любил меня. Мне не хотелось жалеть Пашу, потому что хотелось не любить ее, а повеселиться с ней. Я спешил переменить разговор, и время до часу ночи прошло в переливании из пустого в порожнее. Да мне все равно было, о чем ни говорить. Даже, чем дальше от нас предмет разговора, тем лучше, правдивее и свободнее. Дело было не в том, чтоб говорить о любви, которой нет, о наших чувствах, для которых язык у нас был разный: дело было в том, чтоб сесть поближе друг к другу, чтоб завернуть ее в халат, чтоб она не озябла, гладить рукой по ее

чуть-чуть пушистой руке, по щекам, по волосам, причесанным за уши; надо было целовать друг друга в губы, долго, не переводя дыхания.

Я хвалил ее невинную прическу, ее глаза; она говорила, что этот черный фланелевый халат с кистями идет ко мне, упрекала, зачем остриг волоса, и тому подобное.

Пора и спать, однако! Повторения этой ночи не было.

Тетушка, во-первых, после уже не отлучалась никуда. Паша спала с Ольгой Ивановной; я было и предложил ей раз ночную прогулку, но она и слышать не хотела о такой смелости. Иногда пройдешь мимо нее, тронешь ее тихонько - она улыбнется и не скажет ни слова. Впоследствии я узнал, что чувством можно было довести ее до всего, но мне не говорилось тогда страстно. В таких отношениях прошли еще недели две, и я, возбужденный препятствиями, стал думать не шутя о том, как бы обольстить ее.

Вы, конечно, не думаете, что сердце мое к двадцати годам было, как белый лист бумаги. Из всех девушек, которые мне нравились в

старину, Паша более всех неразлучна с Подлипками: здесь я встретил ее, здесь и расстался с ней. Но я не могу сделать шага без оглядки. Я не могу продолжать о Паше, пока не скажу о неизвестной вам Софье Ржевской.. О Софье Ржевской не могу говорить, не сказав ни слова о домашних наших девицах. Самое наслаждение тишиною Подлипок в лето моего сближения с Пашей не имело бы смысла, если бы перед этим не было множества мелких бурь. Прощайте! Теперь ночью все страшно молчит в вымершем доме...

У Я еще не в силах рассказывать вам все по порядку, а писать хочется; самые воспомина- ния мои идут не так, как дело шло в жизни, а следуют за моими настоящими размышлени- ями и путаются с ними. То помню я себя как в глубокой мгле... Ни дома, ни деревьев не ви- жу перед собою, а только перила балкона и на балконе трех девушек. Я же -- должно быть, еще очень маленький -- вхожу на этот балкон и пускаю изо рта пузыри. Лиц этих девушек я не помню в ту минуту, но пестрый ситец од- ной мне знаком -- дикий, с красными узора- ми. Девушки вскрикивают и приказывают

мне оставить неопрятное занятие пузырями. И на все снова задергивается завеса... Потом улыбается мне свежий молодой родственник в коричневой венгерке -- улыбается, а на него ласково прыгает борзая собака... Двор вокруг зеленеет, солнце блестит, собака весело лает; корыто с кормом около меня, и молодой родственник манит меня рукой: "Володя! Володя!" ...И снова тотчас за этим призывом закрылась жизнь, разверзшаяся на минуту перед непрочным детскими чувствами.

Молодой родственник, хотя ходил в коричневой венгерке тогда, но на самом деле был военный, офицер путей сообщения, и слыл за благодетельнейшего человека в нашей семье; удивительно клеил он коробки, корзинки, рамки, прекрасно рисовал акварелью, еще лучше служил, а всего дороже было для меня то, что первые памятные дни мои украшены его снисходительной лаской. Еще будучи в Петербурге кадетом, хаживал он к нам по воскресеньям в отпуск (тетушка в старину способна была и в Петербурге провести зиму!), и хотя для меня все еще было очень смутно кругом, но Сережа был ясен. Он любил сидеть за

столиком у окна и рисовать по моей просьбе карандашом разные виды. То корабль плывет по океану, а я смотрю через борт вместе с тетушкой Марьей Николаевной -- матросов мы не рисовали; а навстречу нам из Подлипок едет лодка, и в лодке Олинька, Верочка и Клашенька, наши барышни, сухорукая Аленушка, и ключник Егор Иванович гребет... Случалось, что на берегу моря мыла прачка белье, а по небу сверкал зигзаг молнии и мчались облака; другой раз изображался большой дом, корпус, жилище Сережи и Сережа у окна; от Подлипок к нему шла длинная аллея, и по аллее ехали мы с тетушкой в коляске; а над зданием парил огромный орел, унося ягненка... Подобных рисунков было много; не знаю куда они делись. Сережа, в знак дружбы ко мне, на всех свободных местах -- например, на столбах ворот, на краях крыш, на притолках дверей, на борте корабля, на парусах и флагах -- надписывал мелкими буквами: Володя, Володя, Володя.

Сообразив время, я вижу, что кадет предшествовал коричневой венгерке, а человек был все тот же. В свою очередь, коричневая

венгерка была только временной оболочкой, и скоро настал веселый день, когда с утра съехались в Подлипки гости; с утра, надев замшевую перчатку на правую руку, завивался Сережа горячими щипцами в два кока перед маленьким зеркалом на антресоли, а я, не отходя от него, любовался на лицо его то так, то в зеркало. Небольшого роста был наш Сережа, но строен, почти брюнет, но бел. Лет десять спустя я нашел, что он всегда был похож на тех алебастровых девиц с розовыми щеками, которых продают в лавках; прибавьте только чуть пробившиеся темные усы, два кока, один небольшой, другой совершенно *à la coque marine*, да мундир с известными отличиями путевой формы -- вот Сережа -- жених. Но тогда он был мил для меня, и его радость меня радовала. Едва выпущенный из корпуса, приехал он к нам и гостил более года. Он по-старому продолжал рисовать для меня все на свете. Воображение мое требовало пицци, и он насыщал его.

Воображение было у меня всегда необузданное. Мадам Бонне, старая моя гувернантка, поддерживала его деятельность географи-

ческими занятиями, рассказами о путешествиях Кука и других, картинками детских музеев, где гигантские каракатицы низвергали корабли, львы боролись с колонистами, райские птицы распускали желтые хвосты и т. п., более же всего "Вечерними беседами в хижине" Дюкре-Дюмениля. Все выросло тогда вокруг меня: камин, топившийся в зале, был для меня горящим древним замком, зала -- огромной пустынею, душники печей -отверстиями ада, а члены сборной семьи нашей и знакомые -- мифологическими богами, с которыми я познакомился по одной французской книжке. Эта книжка принадлежала мадам Бонне: я знал, что картинки в ней были плохи, грации были гораздо хуже наших деревенских девок, с которыми случалось мне кататься с горы на масленице, а Юпитер с бородой нисколько не величественнее Егора Ивановича. Текст был зато приятен: "Qui etait Vulcain?" Следовал ответ... Все читанное и слышанное старался и воплотить в окружающем меня. Таким образом Палемон, отец "Вечерних бесед", слился у меня в одно с старым лесником Пахомом, который издавна жил за

садом в молодой роще, поднимавшейся на прежних порубках. Патриархального в нем было достаточно: седая борода, клюка, избушка крошечная, на крошечной лужайке в глубине орешника; одного я не понимал: как мог Палемон, или Пахом, при такой жизни драться на шпагах; а в книжке сказано, что он дрался, если я не ошибаюсь?..

Однажды переделывали залу; половицы были подняты, изображая для меня глубокие пропасти. Едва мужики уходили обедать, как я уже прокрадывался туда и, отстегнув с гвоздя угол старого плетеного ковра, которым была забита дверь из мрачного коридора в волшебную пустыню, шел твердою ногою искать руду в неизвестных горах. Часто случалось, что я не признавал своих умерших родителей и уверял, что мать моя была американская царица и что мы ехали с ней в колеснице по берегу моря; лошади понесли – мы упали, меня унес орел, но потом уронил в море; здесь я, как Иона, был проглочен китом и, наконец, выброшенный им на берег Испании, попал, как воспитанник, в Подлипки.

Нужно было найти приложение и для ми-

фологии. Кроме душников -- отверстий ада, были у меня другие соображения: высокий толстый сосед Бек, приехавший к нам на Святой и даривший мне всегда яйцо, раскрашенное разными ситцами, стал Юпитером, Юноной была сама тетушка; Сережа то Марсом, то Аполлоном; мадам Бонне была Минервой, а бледная, стройная Олинька -- Венерой. Надо сказать, что последнюю считали у нас чем-то напоминающим резец Фидия. С течением времени, когда своенравные требования личного вкуса заговорили во мне сильнее, такие лица перестали нравиться мне; но в детстве я любил эту картинную девушку, высокую и тонкую, с природною восковой бледностью строгого лица, с томным и скромным взглядом, в бедном ситцевом платье, танцующую гавот перед заезжим танцмейстером.

Но надо поскорее покончить историю свадьбы Аполлона и Венеры. Оба кока завиты, талия в рюмочку. Я сбегая вниз, в угловой комнате, в той самой, где пылала по вечерам печка и звучала с лежанки чародейка Аленушка, вижу таинственно полурастворенную

дверь, и эта щель обличает особый род приготовлений, не виданный мною никогда. Боже! Что за прелесть! Балдахин не балдахин кисейный, оборки не оборки; розовый цвет белья... Стараюсь вспомнить, что пришло мне в голову тогда, и не могу; кажется -- я удивился: "Зачем же это вместе? неужели не стыдно?"

Гостей было немного, и я не помню их лиц; но из смутного представления движущихся фигур мне ясно виден воздушный образ небогатой невесты в белом платье с черной бархаткой на шее. Доримедонт с усами докладывает что-то; все шумят. Тетушка три раза входит и уходит в разных чепцах и даже все боком, потому что коридорная дверь узка, а чепцы широки. Первый чепец огромен, и лиловые ленты стоят во все стороны. Вероятно, ей сказал кто-нибудь, что цвет слишком печален, только она в другой раз вошла с оранжевыми лентами, опять ушла и вернулась с белыми.

Все гудит в прихожей; белый призрак наклоняется ко мне и горячо целует меня; лицо мое омочено ее слезами. Все умолкает... Тетушка сидит одна у окошка на высоком воль-

теровском кресле, играя табакеркой, и не отводит глаз от окна. У ног ее, на скамейке, Федотка-дурак в оливковом сюртуке и белом галстуке пилит что-то задумчиво на скрипке, а я, схватив обломок сабли, в исступлении ношушь и воюю по зале.

Еще виден мне, после, угол желтой комнаты, ряд стульев, молодая в розовом капоте на одном из них и Сережа в вицмундире, целующий ее руку. Вечером Аленушка кладет меня в постель; я долго слышу звук органа и смутные возгласы родных, веселящихся в больших комнатах.

Удивительная была парочка! Они уехали скоро; но долго еще после этого хранились в душе моей их примерные личности. Жил я у дяди потом, возвращался к тетушке, рос, учился -- но все в неприкосновенной чистоте сохранялось вокруг меня предание о достоинствах этой четы, выпущенной на жизненное поприще из благодетельных Подлипков. Вот их простая история, собранная из разных источников. Инженер наш приехал в отпуск, влюбился и посватался. Тетушка написала письмо к дяде; дядя написал к какому-то гене-

ралу; генерал достал место Сереже. Тетушка не ограничилась этим: она сшила Олиньке подвенечное платье из кисеи, купленной еще прежде у разносчика, подарила ей бархатку на шею; другие знакомые дали вуаль. Тетушка колебалась, говорят, несколько, сшить ли наволочки с оборками или нет и вообще приготовить ли все, что следует, в том розовом виде, в каком предстала мне таинственная спальня из полурастворенных дверей; но приезд дяди Петра Николаевича поправляет все дело. Приезд этот я помню. За несколько дней до описанных мною свадебных картин на дворе уже было темно; я, помолясь Богу, ложился спать под надзором Аленушки, как вдруг дверь растворилась и кто-то сказал: "Петр Николаевич приехал!" Аленушка, стоявшая на коленях перед моею кроватью, вско-чила. В других комнатах поднялась беготня. Мигом я одет и бегу в залу. По зале идет дядя в косматом черном пальто, а тетушка ведет его под руку в гостиную, другие беспорядочно толпятся сзади и спереди, но кто и как -- не помню. Дядя -- лицо немаловажное: он был у нас представителем всего того, что могло про-

буждать в Подлипках честолюбие; он был начало всякого блеска, золота, крестов родни московской, вороных шестериков, запряженных в карету (не нашей чета!)... Взгляд открытый и строгий, легкая лысина на благородном лбу, и завитки слегка седеющих темных волос; Георгиевский крест всегда на модном статском платье, а в случае парада -- мундир военный и целый ряд отличий на груди; белые большие руки и благоухание от волос, одежды, даже от гладко выбритой щеки, которую он мне и на этот раз, как всегда нагнувшись, подставил. На заднем плане его жизни виднелись толпы турок в чалмах и кривые сабли, рубящие головы наших солдат. Эй, казак, не рвися к бою,

Делибаш на всем скаку Срежет саблею кривою

С плеч удалую башку!.. Голова у него была разрублена в одном месте; левая рука прострелена; в груди две раны. Когда тетушка, всегда экономная, покупала у разносчиков стираксу для куренья и на коробке, чтобы указать на восточное происхождение аромата, было изображено и подписано: "Страже-

ние между семью турками и двумя казаками", я вспоминал о грозном и вместе милостивом родственнике. Впереди несчастный мусульманин, верхом, в зеленой чалме, хватался за бок, пронзенный пикой воинственного Дона; другой турок лежал ничком на земле; от третьего остались только куски: там рука, там голова, там нога в туфлях торчали из дыма, обвившего двух главных бойцов. Подалее за холмами рубился против четырех маленьких неприятелей маленький казак, а горизонт замыкался рядом елей, в которых воображение мое привыкло подозревать дядю с полком: он спешил выручить героев. Сама тетушка имела в спальне своей прекрасный абажур с раздирающими военными сценами -- но здесь уже гибли бедные французы в медвежьих шапках и синих мундирах. Тетушка говорила, что брат сам прислал ей этот абажур из-за границы, и так как он тогда был ранен, то она не могла видеть перед собою кровавых рисунков, которым свет свечи по зимним деревенским вечерам придавал так много выражения.

-- Такой сумасшедший! -- говорила она,--

выдумал, что прислать! Как, бывало, ни погляжу, так дурнота и делается!

Хотя я никогда не допускал, чтобы тетушка могла упасть навзничь в обморок, потому что она очень плотно стояла на толстых ногах и упорно сгибалась вперед на ходу, но впечатлению абажура сочувствовал.

"Поди-ка, попробуй,-- думал я даже гораздо позже Сережиной свадьбы: -- Поди-ка! Ведь это здесь, в зале, легко рубиться или амбар брать приступом; а как настоящий турок? Вот человек-то дядя!"

Он недавно еще представлялся государю и разговаривал с ним. В Подлипках шептали, говоря о нем; ему отводилась лучшая комната. На столе камердинер раскладывал тысячи туалетных безделушек: серебряные коробочки, хрустальные и пестрые баночки, щетки в богатой оправе, перед которыми жалки и нечисты становились складное зеркальце, роговой гребень и старая щетка бедного Сережи! "Уж не он ли Марс-то?" --подумал я однажды.

И Сережа был раз навсегда разжалован в Аполлоны. Так как Грецию я тогда знал по

словам мадам Бонне и Гомера не читал еще, то и не знал, что у него Марс прост и Минерва его бьет... Минерва, ученая женщина, -- мадам Бонне. При ее накладке, при лице ее, блестящем и сморщенном, как те моченые яблоки, которые по вечерам подавал нам Доримедонт, -- можно ли поверить, что она бьет воинственного Петра Николаевича? Подиобрази все это!..

С. приездом дяди дело свадебное приняло иной оборот и при нем тетушка не смела отказать от приличных издержек. \*

В каретном сарае, от которого теперь остались одни кирпичные столбы, была у нас простая крашеная бричка Ее выкатили к пруду, и кучер мыл и сушил ее. Потом подвезли ее к крыльцу, и молодые влезли в нее с немногочисленными пожитками и горничной девочкой. Плакали ли они или радовались -- не знаю, но, говорят, тетушка дала им двести рублей да дядя триста ассигнациями -- вот и все! Загремела бричка по двору, свистнул Агафюшка: "Ну, ворочайся!" -- и мигом скрылись надолго-надолго да стриженными акациями изгороди мои дорогие мифологические суще-

ства! Десять лет не видал я их потом -- десять лет для меня, ребенка!

Они жили в трехстах верстах от нас и не приезжали ни разу. Олинька раза три в год писала тетушке, иногда вспоминая и меня. Тетушка сначала всякий раз сокрушалась о бедности их, сделала им широкое одеяло из разных ситцевых лоскутков, все шестиугольниками, раза три посылала им по сто рублей ассигнациями, а потом стала радоваться, что они поправились... да так поправились, что тетушке прислали, зная ее религиозность, из серебряной проволоки красивыми цветами выделанную лампаду к образам ее спальни. Тетушка заплакала и сказала мне:

-- Вот видишь, Володя, что значит, мой голубчик, воспитание хорошее. Посмотри, голубчик, какая лампадка -- это он, конечно, трудами рук своих приобрел. Да!

-- Что же они, та tante, разбогатели?

-- Он место имеет хорошее; к начальству был почтителен, искателен был, трудолюбив

-- я всегда старалась внушить ему набожность. Отец его был большой приятель моему покойнику, они вместе служили -- они ведь

троюродные братья были, на одной квартире жили и все делили между собой. Видишь, мой друг, все награждает Бог в правосудии Своем. Кто к Нему прибегнет, тому всегда хорошо. Я помню раз, кадетом еще оскоромился он Страстную -- уж я ему голову-то мыла, мыла!.. Скромный, почтительный был мальчик! "Что, батюшка, стервятники покушал?" А он: "Ах, ma tante, я понимаю свой грех, это в последний раз!" И сам плачет в три ручья. Вот ему Бог и послал. А кто не верует, тому одно наказание и в этой жизни бывает и в той. Помнишь ты, у дяди Петра Николаевича, в Троицком, на антресолях есть портрет -- красивый такой мужчина, с большим жабо... такое лицо... (тетушка сделала такое лицо). Помнишь?

-- Помню.

-- Это был граф Короваев. Что же ты думаешь? Этот человек имел все от Бога: и красоту, и богатство, и жена у него была красавица... Ведь нет, подгадил-таки, поехал Париж, начитался Вольтера и вернулся таким безбожником, что ужас. Волос, бывало, дыбом становится, как он начнет говорить. Мой муж сам читал Вольтера: бывало, сидит вот в этих

креслах и читает. Il aimait la lecture. У него были всегда прекрасные пеньковые трубки, и он курил на кресле и нарочно читал Вольтера -- почитает, почитает и вдруг вскрикнет: "Ах, какая скотина!" Непоколебимой был веры человек!.. А тот ничего священного не знал: перед причастием кофе со сливками пил; в церковь и калачом не заманишь ни за что! Как же он кончил, ты думаешь? Жена у него умерла давно, он жил в Москве. Домина у него огромный был около Арбата. Только вот у него стали делаться какие-то припадки: вдруг упадет в обморок и трепещется весь, и пена у рта -- просто ужас! Вот дворецкий, его фаворит, и вздумал одну странницу привести отчитывать его... Она клала ладонку небольшую на грудь больным и молилась, и, говорят, всегда помогало. Сколько раз она приходила, не знаю; только, видишь, дворецкий, как он станет приходить в себя, сейчас и уведет странницу: боялся его. Стало ему лучше; Друг он и увидел ее -- не успела уйти. "Это что такое? -- закричал. Вон, говорит, побродягу отсюда! я, говорит, покажу вам!..." И понес ахи-нею. Ну, что ж? Сделался с ним обморок раз,

упал лицом вниз да об стол подбородком -- язык прикусил. Люди все разбежались, кто за лекарем, а кто от страха. Мой покойник, как нарочно, входит к нему. Представь себе, мой друг, язык до того распух и вытянулся изо рта синий, что он так и задохся. Глаза налились, смотрят на мужа, а сказать ни слова не может. Тот бегом с лестницы и без содрогания вспомнить не мог... Вот тебе пример!.. Сережа озарился в моих глазах новым светом благонаравия. Недоставало только видеть его блаженство в настоящем; но и на это представились случаи. Однажды в Москве, семнадцати лет, я скучал один после обеда, как вдруг вошел в комнату военный денщик и спросил, я ли Владимир Александрович Ладнев, и подал мне записку.

Вот она: "Если вы не забыли ваших родных, бывших для вас когда-то Аполлоном и Венерой, то приходите к нам сегодня на стакан чая, в шесть часов вечера. Мы стоим в такой-то гостинице, в 17-ом номере. Жена моя ждет вас с нетерпением... Ваш Сергей Ковалев".

Бегу, бегу в 17-й номер -- шестой час, наси-

лу пришел. Любопытство отнимает у меня ноги; я беру извозчика и скачу.

Это свидание не показало мне ничего особенного. Мы обнялись, улыбались друг другу с Сергеем Павловичем, он говорил, что я вырос; я говорил, что он ничуть не постарел.

Олинька по-прежнему хороша отвлеченно, но уже совершенно не в моем вкусе. Прошло десять лет: ей было двадцать семь, ему двадцать девять -- в самой поре!.. Шестилетняя дочка показалась мне слишком жирна и скучна; номер не совсем опрятен; открытые погребцы и ящики, разбросанное платье, посуда где попало... Чай плохой, но прием радужный. Чтобы не отвечать сухостью на изъявления их родственных чувств, я принялся говорить о прошедшем детстве, о Подлипках, думая, что это будет приятно им. Самовар шипел; дочка дремала на скверном диване; Сережа курил трубку и слушал, как я рассказываю. Олинька прервала меня вопросом:

-- А что тетенька? все такая же скупая? Я с изумлением взглянул на бледную нимфу. Где же эта глубокая, нравственно-религиозная связь между благодетельницей и восхваляе-

мой ею четой? Разве может близкий нам человек быть скуп, зол и т. п.? Или если так, так пусть он не будет близким отныне. Стоит ли говорить о нем? Вот благодарность!

-- Чем же тетушка скупа? - спросил я. ,

-- Ну уж так скупа, как нельзя хуже,-- сказал Сережа, -- хорошо он нас отпустила тогда! Я скажу при ней (он указал на жену), что, не будь ее прекрасный характер, я бы с ума сошел. Ведь у нас ни ложки не было, ни чайника -- ничего ровно. Я должен был ходить на службу на другой конец города по морозу, по слякоти, по дождю; возишься там целое утро, а придешь домой -- перекусить нечего! Олинька тихо засмеялась, устремив на меня томные глаза.

-- Я, знаешь, всегда старалась все ему в забавном виде представить... Зачем отчаиваться?.. Он, бывало, придет усталый, злой, а я и представлю ему какую-нибудь штуку, палочкой или щепочкой чай ему мешаю... Он рассмеется. Нет, любовь и хороший, веселый характер не заменишь ничем! Сергей Павлович взял проснувшуюся дочь на колени и начал ласкать ее; потом присовокупил:

-- Конечно, все надо судить по средствам. Тетушка, не забудь, имела более 1000 душ и в то время не выезжала из этих Подлипков. Какие там расходы? Смешно! Ни тебя, ни других наследников она бы не ограбила, если бы помогла нам хорошенько. А тут ребенок родился -- каково это!.. То-то... Все эти ханжи так... черт бы их побрал!

Олинька захохотала.

-- Полно, что ты бранишься! -- сказала она. -- Не все бывают щедры на свете; у всякого свой недостаток. Тетушка все-таки очень добра. Помнишь, она одеяло нам сшила, которым наша Авдотья одевается... Ты смотри, Володя, не скажи тетушке... Я был смущен. Мне рисовалась бедная, душная квартира в губернском городе, усталый труженик, неопытный отец нового семейства... А там, у нас в Подлипках, большие, чистые и широкие комнаты, цветы, старинная, но прочная и удобная мебель, тетушка с наставлением на устах и спокойным взором, а пуще всего -- ящики ее туалета, всегда запертые... Там-то хранились сокровища, достаточные для услаждения жизненной муки двух десятков семей... О Боже! Как

это ново все!..

Отчего эта похвальная жизнь Ковалевых так чужда мне теперь? Родного сердцу уже нет в них ничего!

Грустно покинул я 17-ый номер. Года через три судьба снова сблизила меня с Ковалевыми; но чем ближе подходили они ко мне в действительности, чем живее становились наши ежедневные встречи, тем более немело сердце... Еще год или два, и они для меня не существовали. VI

Жить мне было хорошо у тетушки. Хотя права наследства после нее я делил с старшим братом моим, с дядей Петром Николаевичем и с его сыном, Петрушей, но я был Венямином родства. Петрушу, двоюродного брата, Марья Николаевна видела редко; брат мой был уже велик,

двенадцатью годами старше меня, и учился в петербургском корпусе; он занимался порядочно, но часто огорчал тетку своими шалостями, и, сверх того, мать моя, вторая жена покойного отца, была любимой невесткой тетушки. Мать старшего брата была женщина легкомысленная и гордая и, по словам Марьи

Николаевны, изменяла мужу.

-- Слава Богу, -- говорила мне тетушка, когда я уже был большой, -- что она подобру-поздорову скоро убралась... Такая пустоголовая бабенка! Она бы мужу года в три шею свернула... Вообрази себе, мой друг, что она сделала: вздумала раз с своим возлюбленным вечером в санях кататься! Уверила твоего отца, что у него жар, уложила в постель, напоила липовым цветом, навалила на него целую медвежью шубу -- и была такова: "Не смей вставать без меня; если ты заболеешь, я не перенесу!"

Моя же мать была иного рода, и отец женился на ней, когда ему было уже под сорок лет.

-- Он много страдал от раны около того времени, -- сказывала Марья Николаевна. -Бывало, сидит в халате на беличьем меху. Куда уже тут с молодой женой! Раз вышла она в газовом платье, вся юбка вышита белым шолком, на голове брильянтовая нить, жемчуги на шее: на бал в Москве собралась. Она была прелесть как хороша! Что ты ее на этом портрете видишь, mon cher? Локоны одни белокурые чего стоили! Бывало в мазурке несется,

головку набок, еще девушкой -- просто загляденье! Ну, вбежала, платьем шумит, а брат и вздрогнул. "Что ты, говорит, Саша, так шумишь? Если ты хочешь плясать и мужа бросаешь больного, по крайней мере не пугай его". Она сейчас глаза опустила. "Если тебе, говорит, неприятно, я платье сниму и с тобой останусь". Ну, смягчился, знаешь. "Ничего, ангел мой; это я так сказал. Поезжай, дружок, веселись, пока весело". Она чмок его, чмок меня -- и помчалась. Брат вздохнул и рукой только показал ей вслед. А я ему говорю: "Помилуй, Александр Николаич, возьми ты ее года в расчет! Разве ты можешь в чем-нибудь ее винить?" -- "Ни в чем, ни в чем, -- говорит, -- кротка, кротка как ангел!" А сам закашлялся и слезы на глазах. Взял меня за руку... "Маша! Маша! -- говорит -- хотел бы я с вами еще пожить!" Да нет, через полгода скончался... Мать моя тоже умерла на руках у тетушки, и всю дружбу свою к отцу и к ней, все свое врожденное чадолюбие, которому, по бездетности ее, не было прямого исхода, обратила она на меня. До десяти лет спал я в ее спальне; сама она заботилась о моей одежде, о мо-

ем ученье, насколько умела; учила сама меня читать "Отче наш", "Богородицу" и самую любимую мою молитву, в которой я как бы запросто и детски разговаривал с Богом: "Господи, дай мне счастья, здоровья, ум, память и доброе сердце! Избавь меня от всех болезней и спаси меня от всех бед!" Володя был кумиром Марьи Николаевны. В большой спальне ее висели портреты всех родных. Акварели, большие портреты в рамах, силуэты: я же был изображен в нескольких видах. Над большим креслом ее парил крылатый херувим без тела: это был я, едва рожденный на свет. В другом месте я в локонах сидел на ковре, в третьем -- скакал на деревянной лошадке...

И не она одна -- все в доме, если не любили, так по крайней мере баловали меня. Старый буфетчик качал меня на ногах, приговаривая иногда: "чаю, чаю, величаю". Девушки звали меня ангелочком, кавалером и носили меня на руках. Одна из них, которой имя было Паша Потапыч (потому что отец ее был Потапыч), нередко забавляла меня по зимним сумеркам -- пела, сидя со мной на плетеном ковре, или рассказывала мне что-нибудь, ко-

гда запас Аленушки истощался, или, бегая на четвереньках, представляла волка и так страшно скалила зубы в полумраке, что даже Аленушка, сидя на лежанке, боялась. Никто не смел сгрубить мне или непочтительно со мной обойтись. Когда одну зиму, помню я, выпал такой глубокий снег, что от строения до строения прокапывали ходы, я любил гулять с нянькой и мадам Бонне под сенью этих снежных стен; к нам тогда часто выходил ровесник мой, Федька, сын кучера, ставший потом комнатным казачком. Он был резов и смел, и тащиться сзади за мной ему мало было охоты; но ни мадам Бонне, ни Аленушка не позволяли ему ни за что забегать вперед, и он только наступал на меня и шептал мне в затылок тихонько: "рысью, барин, рысью!" И я бежал немного рысью. Не только тетушка баловала меня всевозможными подарками и ласками, не только люди, и особенно Аленушка, любили меня, но и мадам Бонне вовсе не была строга, несмотря на всю свою храбрость. В храбрости ее я был так уверен, что не боялся ходить с ней в густой орешник, где жил Пухом, или Полемон, в ветхой хижине, где жили

Леон, Бенедикт и другие дети "Вечерних бесед". Однажды, когда пьяный кучер опрокинул нашу коляску в промоину, она ни мало не потерялась, схватила меня на руки и, передавая соскочившему слуге, закричала только: "дэти, поскорее дэти!" Эта храбрость мадам Бонне в таком опасном случае немного мирила меня с тем, что она Минерва! Минерва эта старалась всячески забавлять меня; часто садилась она к фортепьяно и пела мне милый романс: молодой негр хочет жениться на белой девушке и говорит ей:

Restez ma toute aimable! Tournez la tete a moi и т. д.

А потом, под конец: Va, ma petite reine!

Ne pas toi mettre en peine. L'ivoire avec l'ebene

Font de jolis bijoux! Она умела также делать маленькие куклы, не больше полувершка: сами из тряпочек, а ноги из конского волоса. Оденет их по-русски -- женщину в сарафан, а мужчину в кафтанчик, откроет фортепьяно, поставит их на внутреннюю доску и заиграет русскую плясовую. Тогда куклы начинают плясать сами собою на доске, а я, уже взвол-

нованный родной музыкой, с жадностью слежу, как налетает мужичок на молодницу, или как она, подпершись руками, нагоняет его, или как они, загнав друг друга в угол, толкутся там вместе. В эти минуты я любил мадам Бонне со всем жаром удовлетворенной созерцательности.

Кроме Олиньки-Венеры, у нас жили еще две девушки, родные сестры. Старшую звали Верочкой, младшую Клашей. Последняя была четырьмя годами старше меня, а Вера шестью. Вера была простая, веселая, полная, белая девушка, которая после, вышедши замуж, родила двенадцать детей. Но еще прежде обвенчались мы с ней в Подлипках в день моих именин 15 июля.

В этот день я всегда был осыпан подарками; во время утреннего чая я сидел в креслах, и вся дворня приходила целовать мою руку. День же нашей свадьбы с Верой был особенно весел и торжествен в тот год, когда мне минуло девять лет. Фаворитка моя, Олинька, уже уехала прошлой осенью, но две оставшиеся девушки смотрели на меня как на существо особое, царственно-избранное. "Царь мой, Бог

мой!" -- говаривали они, обнимая и целуя мои щоки и руки, особенно старшая; младшая, Клаша, полная, как сестра, но бледная и вялая, была вообще не предприимчива, и я любил ее немного более жолтой Фев-роши Копьевой, которую прогонял всегда, уверяя, что от нее пахнет рыбой. Вера с утра, в день моих именин, поставила в зале горку и прикрыла ее кисеей. Когда я вбежал, глаза мои прежде всего невольно обратились в ту сторону, где ждали меня сюрпризы. Еще за неделю до этого терзался я вопросами о том, кто что подарит мне. Поздоровавшись с тетушкой, с барышнями и с мадам Бонне, я подошел к горке и поднял кисею. Чего там не было: и сабля железная с ножнами, и маленькая уточка из синего стекла, наполненная духами, с пробочкой в том месте, где бывает хвост; был и шкапчик вышиною не более 1/4 аршина, а в нем стояли география, грамматика и арифметика, по которым я мог даже учить своих детей (так они были Малы); была и табакерка с музыкой, и ружье, и шлем из картона. Было, наконец, небольшое сердце вместо альбома: оно развертывалось звездой, и листья его

еще были белые. Я пошел благодарить всех и всем подносил свой альбом, прося вписать что-нибудь. Тетушка написала: "Я тебя люблю; веди себя хорошо и учись, я тебя еще больше буду любить"; Вера написала розовыми чернилами:

Dors, dors, mon enfant, Jusqu'a l'age de cent ans

Клаша по совету сестры: Je vous aime tendrement,

Aimez moi pareillement. Сама она ничего не могла придумать. К обеду приехал помещик Бек и сын его, юнкер лет восемнадцати. Я им подал свое сердце. Сын написал: В глуши божьих диких гор,

Куда и голос человека Не проникал еще до века!

Отец же черкнул огромными буквами: "Приношу вам чувствительнейшую благодарность!" После обеда я решился осуществить мои давнишние мысли о семейном быте: я предложил Вере обвенчаться со мной. Она согласилась, и мадам Бонне, украсив ее голову страусовыми перьями, надела на нее вуаль; мне под куртку через жилет подвязали крас-

ный шолковый пояс, вместо генеральской ленты; Клаша нарядилась тоже, и на юнкера надели рисованные кресты и ленту. Нас поставили перед высокой рабочей корзинкой; старик Бек начал читать что-то громко из первой попавшейся книги и водил нас вокруг. После свадьбы начался бал. Так как мадам Бонне не умела играть танцев, то Бек предложил свои услуги:

-- Дайте мне какую-нибудь книгу, -- сказал он.

-- Вот "Живописный Карамзин".

-- Все равно, -- сказал старик, -- берите дам. С этими словами он сел к столу, раскрыл книгу где попало и увидав, что на картине был представлен убица Святополк, закричал:

-- Начинайте! Вальс Святополка окаянного!

-- Святопо-олк, Святопо-олк, Святополк-полк-полк-полк. Я носился в восторге то с Верой, то с Клашей, то с большой куклой.

-- Мазурка Мономаха! -- командовал Бек. -- Мономах-мах-мах!... Но бал кончился грустно. Музыка "Живописного Карамзина" не удовлетворяла барышень. Скоро они ушли наверх; Бек удалился к тетушке в гостиную, а я,

в страшной досаде, ходил по зале и напрасно ждал дам. Наконец, услышав, что они хохочут наверху, я взбежал туда и начал их бранить. Клаша, которая в этот день была оживленнее обыкновенного, стала передо мной на колени и хотела поцаловать меня; но я, не знаю почему, взбесившись, дал ей пощочину. Клаша ахнула, посмотрела на меня грустно и, отойдя в сторону, заплакала. Вера, погрозившись мне, бросилась утешать ее. Я глядел со стыдом ей вслед, глядел на ее бальный наряд и на руки, которыми она закрыла лицо. Мне стало невыносимо -- я убежал в тетушкину спальню, где всегда горела лампада, и заплакал. Ни Вера, ни Клаша ни слова не сказали тетушке.

К счастью, я не был слишком зол: во все время моего детства я хладнокровно сделал только два дурные дела: вымазал лицо Аленушки мылом да, заспорив с Федькой о том, что я все смею сделать, толкнул его в сажалку! Для игр дали мне сверстницу. Еще мне не было и восьми лет, когда привела с деревни крестьянка двух девочек. Обе девочки плакали и утирали слезы передниками: одна голубым, другая желтым с красными цветами. Те-

тушка колебалась с полчаса и выбрала старшую. Тетушка любила, чтоб служанки ее были чисты и красивы, а старшая была красивее. Катюшке было 10 лет. Я был, верно, тронут появлением нового ребенка в доме и в сумерки посоветовался с тетушкой насчет подарка Катюшке. У меня были две деревянные куклы величиною в 1/4 аршина, которые стали немного рябоваты оттого, что я мыл их в корыте, в котором кормили собак у переднего крыльца. Куклы эти были мне дочери и звались Орангутанушка и Надя: они гнулись по всем суставам. Так как в это время меня гораздо больше начинали занимать взятия приступом шалашей, анбаров, битвы на садовых мостиках и на необитаемом острове нашей круглой сажалки, чем куклы, то я и решился отдать обеих дочерей грустной девочке в за-трапезном полосатом платье. Тетушка одобрила меня, и когда я, не без смущения, отнес голые куклы в девичью и отдал их Катюшке, все девушки похвалили меня и кукол, а Катюшка отвернулась к окну и угрюмо сказала: "это для Евгешки". Евгения была ее меньшая сестра, и Катю похвалили за доброту. Кажет-

ся, ее никто не обижал; но дикая девочка с бегущими серыми глазами дня через два исчезла. Ее нашли в канаве, верстах в двух от деревни, пожурили ее, пожурили мать и оставили. Но она еще долго никак не могла привыкнуть к хорошей жизни. Тетушка велела сухорукой Аленушке взять ее себе в помощницы, и они вместе ходили за тетужкой. Аленушка уже не раз била ее здоровой рукой за неисправность и отважную небрежность, но она исправлялась туго. То на приказание шить отвечает потягиваясь "не хочется"; то пойдет стлать постель барыне и заснет на ней сама. Ищут, ищут, где Катька -- нет Катьки! А Катька спит на барской постели ногами вверх на подушку, а головой к ногам. Отучили от кровати -- она стала каждый вечер, убежавшись, засыпать на медведе, на которого ставила тетужка ноги, вставая с постели.

Я тоже повредил ей однажды. Играя с ней во что-то в зале, в сумерки, я стал уверять ее, что неприлично звать господ по имени и отчеству, что они могут счесть это за недостаток любви к ним, а что надо звать тетужку Маша, меня Володя, барышень, живущих у

нас, тоже в этом роде, и она, послушавшись, в тот же вечер принесла однрй из воспитанниц орехи кедровые от тетушки и сказала: -Клашенька! вам прислала Машенька... Меня хотели наказать без ужина, но простили, а Катя простояла на коленях около часа. Ее взяли осенью, а на следующее лето она еще была так дика, что убежала на три дня, вот по какому случаю. Однажды Вера, вставши поутру, не нашла кольца, которое ей было дорого, потому что в нем были замкнуты волосы ее матери. Взыскались, туда-сюда -- нигде кольца не видать. Аленушка, которой Катя часто досаждала неисправностью, посоветовала обратить внимание на девчонку, и тетушка разрешила ей допросить ее кротко. Аленушка завела ее в чулан и начала стращать крапивой и розгами. Катя слушала, отнекивалась и наконец была оставлена. Девушки в девичьей продолжали стращать ее, боясь, вероятно, чтоб подозрение не пало на них. В сундуке ее ничего не нашли. Воспользовавшись минутой, когда на нее вовсе не обращали внимания, Катя вышла в сени и, бросившись в сад, пропала. Все были в смятении. Все бросились ис-

кать ее.

Настал темный вечер. В роще, которая су-  
рово чернелась за лугом у сада, загорелись и  
замелькали фонари: люди были и пешие и  
верховые. А я, исполненный нетерпения и  
восторга, стоял у садовых ворот с двумя деви-  
цами, и все мы не сводили глаз с рощи. Поис-  
ки были напрасны в этот вечер. На другие  
сутки привел ее после обеда лесник из другой  
рощи, которая исполнена была, по моим то-  
гдашним мыслям, величавой дикости. Боль-  
шая промоина с боковыми отрогами змеи-  
лась по всему ее протяжению. Из этого верте-  
па привели Катю. Там провела она всю ночь.  
Мы сидели все на коврах в липовой аллее. Дя-  
дя, Петр Николаевич, гостил у нас. Он велел  
привязать девочку к дереву и стал было кри-  
чать на нее, а мы и люди образовали около  
него почтительный полукруг. Тетушка Укро-  
щала дядю и, казалось, была тронута испуган-  
ным видом одичалого ребенка. Катя не плака-  
ла; опустив голову, стояла она, и глаза ее пры-  
гали; ноги были босы, в пыли и ободраны; ру-  
ки тоже. Дядя, смягченный ее видом и состра-  
дательными замечаниями тетки и девиц, лас-

ково взял ее за подбородок и долго уговаривал ее признаться. Катя сказала наконец: "Оно здесь в дупле".

-- Так ты взяла? -- спросила тетушка. -- Я.

-- Куда же ты его дела? где дупло?

-- Вот здесь... в том дупле. Ее развязали, и дядя сам повел ее к дуплу. В дупле кольца не было.

-- Я его повесила на эту ветку. Оно не упало ли? Все нагнулись и поискали, кольца не было. Тетушка,

справедливо думая, что она слишком устала и напугана, велела отвести ее в девичью, обмыть, накормить и успокоить, а потом опять попробовать допросить. Все было исполнено. Когда Аленушка стала снова склонять ее к признанию и вывела ее на заднее крыльцо, чтобы быть с ней наедине, Катя сказала ей, что прежде она все лгала, а что кольцо спрятано на острове. Алена пошла с ней туда; но едва только поравнялись они с круглой сажалкой, как девочка кинулась в сторону, вихрем понеслась к калитке, отворила ее, через луг, и в рощу!.. Алена давно лежала на куртине, зацепившись за кочку в ту минуту,

когда хотела броситься за беглянкой.

Опять волнение. Но с фонарями не поехали, не знаю почему. Один мужик приходил сказать, что видел ее на большой дороге, а куда она шла, не знает. В этот же вечер, вскоре после того, как Катю отвязали от дерева, наши девицы уехали к соседке-вдове, за три версты, к той самой, у которой были накануне пропажи кольца. Соседка шутя сняла с руки Веры кольцо, и, болтая и прогуливаясь, все три забыли об этом и не вспомнили и по возвращении. Все были поражены, когда во время ужина барышни воротились и объяснили загадку.

-- Зачем же эта негодная звезда взяла на себя? воскликнул дядя Петр Николаевич.

-- Очень ее запугали, -- возразила тетушка, -- глупые девки сказали ей, что ее высекут, если она не признается. Снофиды такие дурацкие! На следующее утро часов в восемь отыскал ее лихоя казачок наш в крестьянских конопляниках. Он уже гнался за ней, когда она повернула в конопли. Он влез на овин, увидел ее, спрыгнул и схватил.

Ей не сделали ничего особенного, только

остригли косу. Года через полтора она стала очень опрятной девочкой, весьма заботливой, веселой и услужливой: тогда ей приказано было играть со мной. Особенно ясное впечатление оставили во мне наши игры в длинные зимние и осенние вечера в нашей длинной зале, где пол был так блестящ, а лампы в углах так весело сияли. Тут Катюша строила крепость из стульев по моему указанию; мы мирно и по очереди возили друг друга в тележке, играли в кухню и сражались с неверными. Руководствуясь одной картинкой, которая казалась мне очень изящна (она изображала девочку на столе и мальчика у стола), я сажал ее на стол в темной классной и сам, ставши у стола, целовал ее руки, говоря, что есть такая история. Никто не узнал нашей тайны. Но больше всего утешала меня Катюша, когда я был слегка болен. Простудишься, положат тебя в спальне у тетушки на постель. Занавески на окнах спущены; в углу золотые образа; перед темными неземными лицами горит лампада; в комнате так много вещей, так тихо, тепло и волшебно. За стенами слышен орган, а Катюшка стоит на коленях у

кровати моей и говорит мне сказки, или о деревне что-нибудь рассказывает, или задает загадки.

— А угадайте, душенька, что это такое: у нас, у вас поросеночек увяз? Я молчу.

— Это значит мох. А это: гляжу я в окошко, идет маленький Антошка, -- это что? Это дождик.

Зато же и заступался я за нее. Буйный Федька любил ее бить, как попало, где только встретит. Схватит, начнет ей руки назад ломать или просто повалит ее на землю и приговаривает:

— Постой, вот я тебя бахну! постой, вот я тебя тарарахну! Беда была Федьке, если я застал его в такую минуту! Так и кинусь сзади его душисть, за волосы рву, за что попало; раз укусил, раз поленом из каминной корзинки по спине ударил. И она между тем оправится вскочит и на него. Тогда уж он бежит от нас.

VII Сегодня воскресенье; около полудня я надел дубленку и пошел гулять. Время было тихое и не холодное. Все небо было сплошное серое, и мокрый, крупный снег падал тихо. Я вошел в рощу... Боже! какая тишина! Ни ше-

леста, ни голоса. Деревья покрыты снегом, и легкий снег не сыпется с них нигде; нигде не видно следов, не слышно жизни! Чем больше прислушивался я, не двигаясь сам, тем величественнее становилось молчание. Я вышел опять на дорогу. Приходской пятиглавой церкви нашей на полдневном горизонте за снегом не было видно, но слышался дальний и тихий благовест. Вдали по дороге между вешками тихо ехал мужичок в дровнях... никаких красок не было в этой широкой картине... Белые поля, белые березы, черные сучья, темные острова далеких деревень... Только за мною на близких избах и овинах Подлипок солома была желта, да наши неувядаемые ели синелись из саду. Около этой рощи, 20 лет тому назад, в морозный полдень, неслись мы на четырех тройках с колоколами. Сани были полны молодых девушек и женщин; мужчины стояли сзади, лепились на облучках. С хохотом бросались молодые люди на встречных мужиков и опрокидывали их дровни в глубокий снег. Брат мой, гвардеец, был тогда в отпуску, и он-то придумал эту забаву. Бабы кричали, просили или смеялись; но один старый

мужичок, одиноко влачившийся, как тот, которого я видел сегодня издали, упал ничком и потом, не сказав ни слова, встал, серьезно поглядел на нас, отряхнулся и продолжал свой путь. Как ни веселились в этот день и в следующие за ним дни, но грустный старик еще не раз лежал ничком передо мною! Я сказал, что тогда был в отпуску мой покойный брат. Тогда я любил его. При нем я в Подлипках удалялся на второй план: при нем я уже был лицо будничное, шалун, который часто надо едал всем. С тех пор, как я стал себя помнить, брат уже был в корпусе, и мы раза два совершали с тетушкой уже очень давно полувольшебное путешествие в далекий Петербург. Из черной ночи блестят до сих пор передо мной огни станций с какими-то новыми именами, к которым я тогда жадно прислушивался... Валдай, где приносили колокольчики и баранки; Клин, где вечером под стеклом блистало столько великолепных тульских вещей; Торжок с пестрыми туфлями, ермолками и сапогами; древний Новгород, где жил Рюрик; Померания, Подсолнечная... Какие имена! Фонари у дилижансов, мрачные лица закутан-

ных высоких незнакомых пассажиров -- все это нравилось мне, и все это соединялось с мыслью о добром брате, который нас ждет. Днем я помню огромные поля -- пустые, болотные, туманные; огромные коряги и пни рядами стояли на них. Не черные ли чудовища это ждут чего-то на этих полях? Не начнут ли они борьбу? Здесь я вижу их мельком, а в Подлипках осенью слышу их вой... Мы пронесли мимо... В карете тепло, и в городе ждут нас великолепные дома с огромными окнами, ряды вечерних фонарей, веселая квартира и милый, хотя и мало знакомый брат... Он водил меня гулять, показывал мне картины и Дорогие вещи в окнах на Невском; когда он, не боясь мороза, шел по улицам в солдатской шинели, и султан его так высоко качался на кивере; когда он выбегал к нам в приемную корпуса из толпы жужжащих под лампами товарищей или молодецки делал фронт офицерам, я с любящим, робким вниманием следил за каждым его движением, а он обращался тогда со мной осторожно, как с какой-нибудь хрупкой и ценной вещью; внимательно сажал меня к себе на колени, с лю-

бопытством рассматривал мои шелковые рубашки, гладил мои кудри большой солдатской рукой и с почти подобострастной веселостью выслушивал все мои рассуждения. Но вот прошло два-три года, и в одну зимнюю ночь приехал он в Подлипки гвардейским прапорщиком. Проснувшись утром, вскочил я с постели, наскоро одевшись, выбежал в залу и увидел его за чайным столом. Я был поражен его видом. Молодой, с чуть завитыми небольшими усами, русый, румяный, голубые глаза, так шутливо и лукаво добрый... Вот он сидит передо мной... На нем пестрый казакин с турецкими букетами и с синими бархатными отворотами, вышитая золотом и шелками норная феска, немного набекрень. Одна рука, лихо изогнувшись, оперлась на ляжку, другая держит длинный чубук с янтарем. Все ожило, все зашевелилось в тихом доме. Вера одевалась по-праздничному с утра, люди охотнее плясали в нарядах на Святках, беспрестанно звучало фортепьяно. Сама тетушка иногда совсем опустит сонные глаза, губа отвиснет, сидит себе в креслах и постукивает табакеркой; но как только брат войдет, так она сейчас от-

кашлянется громко и бодро, как будто ей легче жить станет. Подумаешь, она что-нибудь хочет сказать, но она только выпрямится и посмотрит на брата. Закипело все! Соседние помещики, полковые, уездные чиновники десятками стали ездить к нам и жили по двое, по трое суток. На дворе мороз, а мы уже с утра летаем на тройках туда и сюда; крик, катанье на горе, веселье, смех, обеды при свечах, звон разбитых бокалов... Вот уже и в окнах темно, хоть глаз выколи, в крайней избе за ракетами догорает огонек, а здесь музыка... Огромный городничий, старик с седым хохлом, дремлет в углу, двигая чубук из одного угла рта в другой; я смотрю на него и не верю, что он бился как лев в 12-м году. Жена его, старуха, улыбаясь, танцует мазурку в белом платье с розовыми бантами, тот гремит каблуками и заставляет дам летать вокруг себя, другой крутит ус и, взявши под руку брата, шепчет ему: "Душа моя, высвиснем вместе!" К обеду идут попарно; тетушка ведет под руку даму в большом чепчике с пунцовыми бархатными лентами. Какой знатной, блестящей дамой казалась тогда эта спутница тетушки! Я долго

не мог забыть ее лент; позднее я узнал, что она вовсе не знатна и даже так дурна, что муж ее в день свадьбы долго ходил в халате по зале и говорил, ударяя себя по лбу рукой: "Боже, чем я Тебя прогневил? какой тяжкий грех совершил?" Шумно проходят дни; их сменяют другие потише, погрустнее; но в однообразии теплеют чувства. Брат влюбляется в Верочку, Верочка в брата. На лестнице вечером, под конец Святок, вижу я однажды молодого турка в чалме из белой материи; он обнимает на площадке русскую девушку в голубом сарафане; она отвечает ему поцелуями, и долго стоят они неподвижно, обнявшись... Я смотрю сверху, притаив дыхание.

-- Ангел мой! душка! -- шепчет турок.

-- Пусти меня, милый мой, пусти меня...

-- Ангел мой, еще раз!

-- Еще... вот еще... Вот еще... Ты сам ангел...

А я, легкомысленный профан, я кричу: "Сладкие губки, сладкие губки у Верочки!" Меня умоляют молчать, дают мне все, что я хочу, конфет, шелковый платок, книжку с картинками. Я молчу дней пять; но вот в одно утро нападает на меня вольнодумство. Брат ходил

с трубкой по зале, а Верочка в классной учила меня по-русски и священной истории; я был разговорчив и в книгу мало смотрел.

-- А что, Верочка, Бог везде? -- спросил я.

-- Везде, везде, -- отвечала она, грустно покачивая головой и подняв глаза к небу.

-- И даже в этой коробочке есть?

Конечно, есть; полно глупости говорить, учись!

-- И Он все, все решительно видит? - Разумеется, все.

- А как брат тебя целовал, Он это видел? Вера покраснела. Как стыдно! -- сказала она, -- учись. - А эту царапинку на руке у меня Он видит? Вот я болячку сковырну, Он и не будет видеть. Вера с ужасом схватила меня за руку.

-- Не трогай, -- закричала она, -- Бог тебя накажет и рука отвалится. Руку я оставил, но просил Веру представить зайчика. Зайчика мы часто представляли. Пока я учился или списывал что-нибудь, Вера иногда рисовала, и, если ей надоест моя грамматика, она возьмет, бывало, тарелку с красками, наведет ее на солнце, светлое пятно начнет мелькать по стенам. Я схвачу тряпку, скомкаю, намочу ее

и начну пускать изо всех сил в зайчика; бью в стену и в мебель грязной тряпкой, даже себя в лицо, когда свет попадет на него. А Вера катается со смеху по дивану. Этого-то зайчика требовал я от нее. Но Вера не согласилась и, подзвав меня к карте, стала спрашивать у меня из географии.

-- Где Гвадалквивир?

-- Ты сама не знаешь; покажи, где Гвадалквивир?

-- Вот он, -- отвечала Вера и положила всю руку на Испанию.

-- Положи еще другую руку; это и я умею!

-- Боже мой, что с ним делать? -- жалобно сказала Вера, вышла в залу и позвала на помощь брата. Он грозил пожаловаться тетушке, и, когда я отвечал ему: "не смеешь, а то я скажу про лестницу!", брат схватил меня за ухо. На крик мой все сбежались: тетушка, Аленушка, Клаша, мадам Бонне, и я все рассказал им... Вообразите вы себе теперь кучу удивленных лиц, аханья, объяснения и спор, слезы Веры, досаду брата и мой собственный стыд! Еще проходят дни. Тетушка сидит у окна, брат стоит задумчиво у печки, изредка вы-

нимает платок и утирает глаза. На дворе смеркается, и бубенчики гремят у крыльца. Вот еще раз простились; он ничего не сказал мне обидного или сурового, крепко поцаловал и вышел в прихожую. Вот он сел закутанный в повозку; чуть бряцая, съезжает тройка со двора -- и брата уж нет.

-- Какой он чувствительный! -- говорит тетушка ал не. -- Вчера ночью пришел ко мне, схватил себя за голову и говорит: "Как, говорит, я страдаю!"

-- Добрая, добрая душа... -- отвечает Аленушка.

-- Да что ж делать? -- продолжает тетушка. -- Ведь никак нельзя!

-- Нельзя, нельзя, -- отвечает Аленушка. Я желаю узнать, что "нельзя", но меня прогоняют; я ищу Веру. Забившись в темный угол, рыдает она на диване, и около нее плачет меньшая сестра. Я хочу обнять бедную Веру, но она отталкивает меня тихо рукою и говорит так кротко:

-- Бог с тобой! Бог с тобой, Володя!.. Это ты все наделал... Все темнее и темнее в окнах; уже и елей в виду не видать; Вера все плачет

В углу.

-- Кавалер-барин! -- кричит мне Федотка-дурак, махая смычком.

-- Сыграй мне барыню, Федотушка; а Федотушка!..

-- Барыню? Вот она.

Слушаю барыню, а на сердце так и ноет, так и ноет... От музыки еще хуже. Скорее в постель, и слезы ручьем!

Опять бегут будни за буднями, такие беззаботные, тучные какие-то. Новая весна с первыми вербами, с перистым листом тысячелистника на влажной земле, с молодыми березками в Троицын день; лето с ягодами и грибами; новая осень с визгом невидимых чудовищ в опустошенных полях; зима, мороз и волки где-то вдали. А я расту. Вот уже мне 10 лет; я уже с разбором веду войну. Летом хожу издалека. Сперва я дикий, живу на кургане среди сажалки и иду на войну; беру шалаш на огороде, беру два мостика через ров и мрачный яблочный сарай. Роздых; там опять за дело. Уже я близко подошел к столице, я вижу -- крайнее окно розового дома выглядывает на меня из-за огромной груши. Почти

жаль, надо продлить наслаждение. Сперва возьмем сушильню! Кровопролитие ужасно. Краевым соком ягод покрыто мое лицо и руки. Пять раз был я отринут, раз или два падал с лестницы; рот у меня заболел от крика, стрельбы и команды... Но еще, еще усилие -- и мы ворвались! Женщины, дети и старики молят меня о

пощаде... Пусть молят -- я незаметно для самого себя просветился дорогой; я срываю ветвь и в венке, безоружный, выхожу на балкон сушильни говорить речь народу. Я не произношу ни одного звука; но поза, жест и взоры говорят как бы более слов. Весело, гордо и миролюбиво подняв голову, гляжу я на задний дворик, где растет крапива, клохчут индюшки. Глядишь, глядишь -- гордость пройдет, голова опустится, сядешь тут же на балконе и задумаешься, что-то будет со мною? Исполнит ли Бог мои молитвы?

Годам к 11-ти я принужден был оставить Подлипки. Дядя Петр Николаевич однажды приехал к нам, и, дня через два после его приезда, меня призвали к тетушке в кабинет. Марья Николаевна плакала.

-- Дружок мой, -- сказала она, -- дядя хочет заняться твоим воспитанием. Благодарю его...

-- Да, брат Владимир, -- прибавил дядя, -- пора шалдыбалды бросить! Поезжай-ко со мной...

Что было дальше, не знаю. Знаю только, что память моя сохранила впечатление страха и радости. Тогда ли, в другой ли раз, стоял у притолки зальных дверей и, быть может, не запомнил бы ничего о тогдашнем состоянии моего духа, если б Вера не сказала кому-то, указывая на меня:

-- Посмотрите, какой он хладнокровный и не плачет, как следует мужчине. Но во мне уже не дремало тщеславие. Я рисовал себе с блаженством, как я живу в губернском городе, как блистаю. Все это было смутно: только одна несбывшаяся картина будущего жива во мне до сих пор. Передо мной театр губернский. Что дают

-- я не знаю. Да и на что мне это знать? Смешанная прелесть красок, музыка, толпа везде -- и под ногами, и рядом, и наверху, как в том цирке, в который возила меня тетушка в Петербурге... В том волшебном цирке я ви-

дел Турньера и Нимфу на яркой зелени занавеса, и Пьерро, и Арлекина, и наездницу голубом платье, которая сверху мне показалась так мила,

что я тут же, бросившись на шею тетушки, объявил ей о своем намерении жениться на этой красавице. Тетушка отвечала: "Ах, батюшки мои, да она урод. Помилуй! красная, толстая девка!" Неясное подобие такой картины носилось передо мной; но больше всего занимало меня то, как я буду одет. На мне будет коричневая куртка или черная бархатная; волосы в кружок, но не по-русски, а так, как у пажей, молодых рыцарей и принцов, с которыми ознакомили меня *la chatte blanche*, *le chat botte* и т. п. Я видел даже, что я то лорнирую кого-то, то склоняюсь к кому-то в ложу и говорю игриво, и все смотрят на меня и снизу, и с боков, и сверху; все спрашивают: кто? кто этот *charmant garçon*? -- Это племянник вице-губернатора. -*Quel délicieux garçon, n'est-ce pas?* -- *Oh oui, il est ravissant!* А после что? После я военный, я женат, я иду с женою под руку. О, конечно, я военный! Я не мог понять, как люди могут быть штатскими; штатского я

воображал себе не иначе, как в виде уездных чиновников наших или в виде доктора, который ездил к нам иногда. Он был гораздо меньше дам, с которыми танцевал, и смотрел на них снизу томными голубыми глазами. И таких штатских, которые могли удовлетворить моему чувству прекрасного, я знал только двух: дядю Петра Николаевича и одного родственника его, г. Ржевского. Но они оба были отставные, и в осанке их, в молодцеватости, в усах я видел ту самую высокую печать, которую желал бы со временем носить на самом себе. То ли дело военный! На настоящую войну положим не нужно... зачем губить людей? И с кем сражаться? С французами? жалко: все эти Альфреды и Альфонсы такие славные молодые люди; я с ними по разным книгам даже короче знаком, чем с своими Николаями и Иванами; у них есть тоже матери, тетки, они будут плакать! Гораздо лучше в Петербурге маршировать по Марсову полю с саблей наголо, в белых панталонах с красными отворотами, или с гусарским полком нестись марш-маршем. Решено: я военный и иду с женою под руку. Удалившись в

свою комнату, я бросился на колени перед образом и поклялся Богу быть безгрешным до женитьбы, не позволять себе никогда до брака тех ужасов, о которых случайно последним летом я слышал в роще от нашего отчаянного Федьки. "Какая страсть, какой грех!" - подумал я, приникнув лицом к дивану.

-- Милый Бог! -- воскликнул я наконец, -- пожалей меня... Я клянусь никогда не грешить, пошли мне только счастья! Я ведь добр, очень добр... Дай мне, Боже, счастья: ни одного бедного без помощи я не оставлю! Однако настал и час разлуки с Подлипками. Аленушка подошла обувать меня поутру и вдруг заплакала.

-- Дай мне ручку: я поцалую, -- сказала она мне. Я подал руку.

-- Дай мне ножку, -- сказала Аленушка. Я протянул ей еще необутую ногу: она ее со слезами поцаловала; потом сам я подал ей другую руку и другую ногу. С барышнями, с Пашей Потапович, с Катюшей я едва простился. Тетушка и мадам Бонне сильно плакали, когда нам подали карету; но я не пролил почти ни одной слезы. И вот мы сели с дядей в дор-

мез; почтовый шестерик помчался, и скоро мне стало и жалко и жутко. Я молча прислонился к углу и вздыхал. Лошади скакали шибко по грязи; ямщики кричали. Дядя посмотрел на меня.

-- Что же ты, Владимир, молчишь? Не грусти. Я тебе подарю верховую лошадь и полуфрак отличный сошью. Только учись. Неверных разбивать и брать крепости полно -- учиться надо! Боишься ты меня, а?

Этот вопрос был сделан с таким веселым лицом, как будто дядя был рад, что я его боюсь.

-- Да как вас не бояться! Все говорят, что вы строги.

-- Кто же это все?

И дядя опять весело посмотрел на меня. -- Я не могу сказать вам этого. Нельзя все говорить.

-- Отчего нельзя?

-- Свет стоит на политике, -- заметил я. Дядя рассердился.

-- Вот уж и сморозил чушь! Терпеть не могу, когда ты понесешь ерунду. Свет стоит на политике! Как противно! Уж лучше низвер-

гай неверных, Иерусалим бери, а не говори глупых фраз, которых ты не понимаешь. От кого ты слышал эту глупость?

-- Тетенька Марья Николавна так говорит! -- отвечал я с достоинством. Дядя улыбнулся, откинулся в угол и сказал:

-- А! Ну, хорошо. Вперед не повторяй, чего не понимаешь, карандаш ты этакой! Дня три мы не останавливались, скакали под дождем и по грязи и приехали вечером. VIII

Я могу не иначе вспомнить Настасью Егоровну Ржевскую, как уходящую в коридор из залы в синем марсели-новом платье с белыми клетками, с гордо закинутой назад головой.

Подумаешь, Настасья Егоровна была горда? О, нет! Я, будучи лет семи-восьми, даже спросил у кого-то: "Отчего это Настасья Егоровна, когда одета получше, так у нее и манеры другие станут?" -- И мне ответили: "Оттого, мой друг, что Настасья Егоровна дома всегда ходит в капоте, а когда наденет корсет, так ей неловко!" Удивительные отношения царствовали в доме Ржевских! Ржевский, Дмитрий Егорыч, был красавец собой. И теперь еще ви-

сит в их деревне, на задней стене гостиной, портрет его в лейб-гусарском мундире. Красный ментик остался недоконченным; но лицо так и дышит счастьем сознательной красоты и молодечества; легкий черный ус чуть заметно, рыцарски закручен; карие глаза смотрят на вас улыбаясь и не без силы... А как он пел! Детская душа моя даже ныла, когда он пел: "Что трава в степи перед осенью" или "Le vieux clocher de mon village, que j'ai quitte pour voyager".

Посмотрели бы вы на него в последнее время: толст, отек, сед и грязен. Ваточное пальто, покрытое муар-антиком коричневого цвета -- и ни слова, ни слова! Что он был за человек, не знаю. Но жену его я в детстве долго не любил. Зато позднее я стал ценить ее очень высоко. В мифологии моей она долго была Мегерой, хотя и ласкала меня охотно. Женщина она была почти одних лет с мужем, белокурая и статная, с насмешливыми нежными чертами и надменным лицом; взбитые локоны и безукоризненно изящная, хотя и небогатая одежда. Люди в доме трепетали ее. У них была всего одна дочь, годом старше ме-

ня. Сонечка взяла силу выражения и мелкие черты у матери, а цвет волос и глаза у Дмитрия Егорыча. Она была в институте, а я у дяди Петра Николаевича, когда произошел между родителями ее разрыв. Дмитрий Егорыч был удален во флигель... Ржевская вдруг зимой, в метель и мороз, приехала к дяде Петру Николаевичу, и тогда я узнал кой-что об них. Но вы ничего не поймете, если я дам волю разброду мыслей и не расскажу основательно, какая связь была между Ржевскими и Петром Николаевичем. Петруше было 15 лет, а мне 11, когда дядя взял меня к себе. Марс изменил мне. Негодуя на раны, болевшие при переменах погоды, он отдал сына в "правоведение", готовил и меня, как братнина сына, туда же и в завещании, открытом по смерти его, умолял Петрушу не быть никогда военным. Осмотрительный Петруша охотно согласился быть покорным сыном. После глубокого добродушия, милости, баловства Подлипок мне показалось тяжело у Петра Николаевича.

Взял меня дядя от тетушки и привез прямо за 400 верст в тот город, где служил вице-губернатором. Жену его, тетушку Александру

Никитишну, я уже знал немного. Она раза два на короткое время приезжала в Подлипки, во время моего раннего детства. Приехали мы вечером, кажется, в августе. Город был мало освещен, а дом вице-губернатора еще меньше.

Дядя тотчас же пошел куда-то за слугой, который светил ему, а я остался в большой темной зале, с одной восковой свечой на столе. Три люстры в белых чехлах... ночь кругом. На мрачных стенах мрачные, глубокие картины, с пятнами посветлее там и сям.

Дом был на набережной реки, и я, подойдя к окну, увидел не огни и строение, а небо, уже темное, и черную тучу на краю. В звонком доме во все время хлопали двери. Наконец внесли лампу, а потом вошла тетка в малиновой бархатной кацавейке, обшитой горностаем. Тут в первый раз стало ясно мне, какое у нее лицо. Она была высока ростом и очень худая; румянец груб и багров. Взгляды я еще плохо тогда умел различать, но, кажется, ее взгляд был беспокоен. Она поцаловала меня и, взяв мою руку холодной и влажной рукой, повела через коридор к Петруше, который был не со-

всем здоров и лежал в постели. Двоюродный брат принял меня не то чтобы сухо, а просто, как умел, вяло. Я облокотился на стол и не сводил с него глаз. Он тоже смотрел на меня.

-- Вот два козла! -- сказала тетка, -- полноте казокаться... Познакомьтесь. Я вас оставлю одних. -- И ушла.

-- Vous frequentez beaucoup? -- спросил Петруша грустно. Боже! какой срам! Что это значит "frequentez?" В первый раз слышу это слово. Я переспросил.

Опять: "Vous frequentez beaucoup" (какова же была моя досада, когда на другой день, спросив перевода у тетки, я узнал, что сам Петруша сделал ошибку, забыл прибавить кого!)

Я онемел на секунду, вспомнил о том, что он из столицы, а после сказал робко: "Не понимаю!" -- Петруша сказал: "Это значит ездить в гости".

-- Да, -- отвечал я, -- я часто...

Потом Петруша показал мне два игрушечные графинчика, один с малагой, а другой с квасом, один синий, а другой малиновый, прибавив, что зеленое стекло дороже всех, по-

тому что в него кладут золото, и незаметно перешли мы к чему-то другому; к чему -- не помню... а помню только, что Петруша рассказывал, как раки едят рыб и хватают их за морду клешнями.

-- Вот так и схватит! -- сказал он, схватив себя за подбородок двумя пальцами. И что это? скажите. Интерес ли рассказа, или какое-нибудь периодическое возвышение впечатлительности в моей душе -- только фигура его в эту минуту раз навсегда неизгладимо озарилась передо мною точно так же, как фигура Настасьи Егоровны, без корсета, но с гордостью ушедшей в коридор. Так и умру, не забыв его голубого шлафрока, кровати с занавесом и лица его, немного калмыцкого. Вечер кончился грустно. Терентий, усатый дядька, которого Петр Николаевич еще в Подлипках приставил ко мне, на последних станциях был пьян и раздражил дядю. Когда посередине темной и прохладной залы был накрыт стол на три прибора и я шел за супругами ужинать, я заметил, что дядя, ведя под руку жену, что-то шептал ей и пожимал плечами.

Из залы послали за Терентием. Тетка села

к столу. Терентий явился, а дядя, вдруг сжав кулаки, подошел к нему и громовым голосом закричал: "Пить?! Бестия, каналья!.. Пить?! Срамиться с вами везде? А?" Терентий молчал.

-- Ах, ты, пьяница, вор!

-- Помилуйте, ваше превосходительство, мы не ворует...

-- Мы! мы! Кто мы? Ты пьяница, скот! -- И дядя так сильно ударил высокого Терентия в лицо кулаком, что то едва устоял на ногах. Дядя хотел повторить, но тетка сказала: "Ну, что это. И дядя, крикнув только "вон!", вернулся к столу.

Он, улыбаясь, сел около жены, которая печально пригорюнилась у прибора, поцаловал ее руку и, смеясь, пожаловался ей, что при ударе ушиб себе палец своим же алмазным перстнем.

После ужина бедный Терентий повел меня наверх со свечой по широкой и темной лестнице. Я увидел пустую горницу, с белыми стенами, простые ширмы и одинокую кровать свою, без коврика у ног, как бывало дома. Мне стало очень грустно. Я протянул Терентию но-

гу, чтобы он снял сапог, и спросил его: "Ну, что, Терентий?"

Он молча кивнул головою и указал на окровавленную верхнюю губу, рассеченную алмазным перстнем.

Я содрогнулся, лег и взглянул с постели в близкое окно; длинная черная туча над бледной окраиной далекой зари не уходила.

Вскоре и Терентий лег около меня на войлоке и загасил свечу; но долго слышал я, вздрагивая в первом забвении полусна, его вздохи и шопот молитв... Тогда настали дни один однообразнее другого. Многие, между тем, поправилось в моем внешнем быту.

Петруше на другой день было лучше; он сам желал видеть меня в своей комнате, и меня перевели к нему; когда же брат уехал в Петербург с дворецким, назначенным ему в провожатые -- я остался полным хозяином его Удобной и веселой спальни. У дяди я прожил подряд пять лет, от 11 до 16 лет. Тетушка называла дом их склепом -- и не напрасно. Скоро узнал я тайную отраву дядиных дней -- узнал, что кольчуга воинственности и аристократизма, перед которыми я не мог не

склоняться, была пронзена во многих местах. Шире и неисцелимее других была одна рана - Душевная болезнь жены. Вероятно, в долгих шептаниях и толках с глазу на глаз тетушки Марьи Николаевны с дядей и другими не раз изъявлено было опасение за меня: как я буду жить в доме умалишенной женщины? Отпуская меня, мягкая воспитательница моя обливалась слезами и после говорила мне, что решилась отпустить, только понимая, как может быть полезен мне человек с таким весом, характером и такими связями, как Петр Николаевич.

Но и тетушка Александра Никитишна не была дурная женщина. Она любила меня. Но как неприятна была ее ласка! Как странно, что-то отталкивало меня от нее! В пять лет я не мог привыкнуть без отвращения целовать ее влажную руку. Безумие ее было временное и для людей не вредное прямо; только оно было разорительно для дома. Руки ее сокрушали все в эти дни. Турецкая шаль в несколько сот рублей летела в камин; жемчуги бросались в окно прохожему. Она брала также ножницы и разрезала по целому бархат и са-

Фьян диванов. Иногда сидит со мной в гостиной и шьет молча; я что-нибудь делаю тоже; все тихо... Вдруг тетушка схватывает иглу и вкалывает ее себе в лоб... Если шьется или вышивается что-нибудь небольшое и нетяжелое, оно висит на игле, а Александра Никитишна хохочет. Если ей старались помешать, она выходила из себя, бранила мужа и кричала раздирающим душу голосом.

Напрасны были строгие взгляды Петра Николаевича, напрасны его увещания -- то кроткие: "Саша! Саша, мой друг! Успокойся!", то нетерпеливые: "Александра Никитишна! будет ли конец этому?" Напрасен даже крик его: "Тише! Тише! В спальню! На кровать!.. К себе! Тише!"

Впрочем, в обыкновенное время дядя был не только кроток с женою, но и любезен с нею.

Бывало, в эти дни мрака (а мрак длился шесть недель и два месяца!), ходит он задумчиво по длинной зале, заложив за спину белые руки с алмазным перстнем. Не спасли его ни сан, ни шестерики рьяных коней, пленявших весь город, ни походка величавая, ни

кресты и звезды, ни благоухание усов и завитки волос на благородном челе!...

Ходит, ходит, а я сижу и смотрю в окно, не смея вымолвить слова. Я не знал, кого жалеть -- тетку или дядю... и сначала от страха, а потом от отвращения к их мрачному образу жизни не жалел никого. По многим источникам имел я случай убедиться гораздо позднее, что отношения дяди моего к госпоже Ржевской были когда-то глубже обыкновенной приязни. Раненый, богатый, красивый и молодой генерал задумал жениться и приехал в Москву искать невест. У г. Карецкого были три дочери: старшую звали Евгения, вторую Александра, третью, кажется, Анна. До третьей нет нам дела. Тетушка Марья Николаевна умела рассказывать об этой свадьбе довольно смешно.

-- В Москве была тогда, mon cher, одна сваха из благородного звания. Мы ее звали дама-сваха. Какой был вид авантажный! Она состряпала все. Приезжает раз к брату

-- а тот в халате, только что умылся. Ты знаешь его щеголеватость -- халат превосходный. Человек сказал было ей, что барина до-

ма нет, а Петр Николаевич сам вышел в дверь и говорит, что для дам он всегда дома -- принял ее в халате. Ну, подумай хорошенько, какая это дама? Карецкий, старик, имел низость доверить ей. Развратный старикашка! Зато Бог и наказал его: три года без задних ног валялся! Дяде нравилась воздушная Евгения; она была гораздо умнее, танцевала лучше, умела лучше одеваться. Дама-сваха и развратный старикашка устроили за него Александру. Но дядя, видимо, продолжал глубоко уважать сестру жены. Я не хочу злословить, и все доказательства в пользу того, что дружба их была безукоризненна, что в этом деле они были высоки, несмотря на побочные дела -- на рассеченную губу Терентия, на домашнюю суровость Ржевской, которая, быть может, тоже... Знаете -- старшие наши умели искусно мирить в себе два разнородные Мира... Внезапный приезд Евгении Никитишны поразил всех. Не прошло и двух часов, как в кабинете дяди, где заперлись обе сестры и Петр Николаевич, раздались громкие рыдания, и тетку Александру Никитишну вынесли на руках муж и слуга. Она была в обмороке.

Встретив несущих в зале, я взглянул на сестру ее, которая шла сзади. У нее глаза тоже были красны, но я уловил на лице ее такое выражение презрения и гнева, что никогда его не позабуду.

Верстах в полутора от наших Подлипок течет несудоходная река. Лесистые берега ее попеременно возвышаются то по ту, то по другую сторону, и перед одним из сосновых участков стоит боком к реке большой дикого цвета дом. С обеих сторон редя выбегают полукругом ели и сосны из сплошного леса, покрывавшего поле за домом.

Пониже, в беспорядке, широко расстилаются барские огороды, а еще ближе к реке смотрят снизу на барский дом избы дворовых семейных людей. И там живут! Там развешан невод, там к раките у избы прислонена рыбачья сетка на длинной палке; разноцветное белье сушится на плетне. Река течет, вдали ревет чужая мельница, а за рекою луг, где летом мальчики разводят на ночную огни. Ширина, зелень и сила везде! Здесь, по сю сторону, с левого бока, за покинутой и разрушенной псарней, поднялись четыре изящные ели, и

новый сруб виден под сенью их. Там, по ту сторону, за лугом, небольшая дубовая роща, и сам луг иногда целыми полосами кажется розовым от густого клевера. Почтовые колокольчики звенят вдали невидимо; над балконом, обращенным к этой картине, носятся с пронзительным криком стрижи. Евгения Никитишна шла замуж, говорят, по склонности; и хотя брак их состоялся так скоро после брака моего дяди, что ей, влюбленной в Петра Николаевича, конечно, не было возможности перенести вдруг все чувство на жениха. Но не нравиться как муж Дмитрий Егорыч, при своей красоте и тогдашней любезности, едва ли мог. И она скоро страстно привязалась к нему. Тетушка Марья Николаевна умела и про молодость Ржевских рассказывать так же хорошо, как про безбожника Короваева и про отца Василия, и про даму-сваху. Она говорила, что, приехав к ним в первое время их супружества, она нашла их в цветнике, гуляющих вместе, и была поражена их блаженством и красотой обоих. Я поздно узнал красоту лесистого берега, где протекли их медовые годы; но теперь уже дом, река, цветник и

лес слились для меня в одно с Евгенией Никитишной в белом платье и в красной турецкой шали, в которых увидал я ее в первый раз, будучи ребенком.

О муже я уже сказал вам, как он был хорош. Было одно таинственное место у них в деревне: на нем остались уже одни гряды когда-то росшей здесь клубники да кирпичи фундамента. На этом месте стояла прежде теплица; в теплице жил садовник Яков; Яков любил молодую прачку. Барин тоже обратил на нее внимание; но она не польстилась на барские слова. Ржевский решил сослать ее куда-то за дурное поведение, за связь с садовником. Но Евгения Никитишна узнала все.

Она давно уже замечала беспорядочное его управление. Недовольная продажей другого имения, она желала сохранить пристанище для себя и приданое для дочери. Имение, описанное мною, принадлежало ей, а его едва было не продали с аукциона. Тогда-то Ржевская приехала к дяде. Дядя заплатил долги Ржевских; он поехал с нею в ее деревню, и какие у них были толки с мужем, никто мне не передал. Евгения Никитишна с этого дня взяла все

дела в свои руки, а за историю с прачкой перестала быть женой Дмитрия Егорыча и даже удалила его во флигель. В течение пяти-шести лет обратился Ржевский в тучного ипохондрика. Дочери было 17 лет, когда ее взяли из института и когда я познакомился с ней. Но разговор об ней отложим.

IX Несмотря на строгую скуку вице-губернаторского дома, я созрел в нем не только годами, но и опытом. В первые три-четыре года я много прочел и кое-как мирил в себе мечты с действительностью. Я мало помню живого из этого спокойного и скучного времени. Не знаю даже, как назвать эту эпоху моей жизни, переходною или нет. Хотя я думаю, что всякая пора в жизни переходна, но вопрос здесь тот, на чем следует больше остановить ваше внимание -- на том ли, что игры перестали забавлять меня, что мечты о военном блеске сглаживались тогда мало-помалу принужденным одиночеством, размышлением и чтением, которое начинало сильно занимать меня; на том ли, что светлые и холодные мечты детства незаметно уступали место теплоте и грусти, сознательным мыслям о женщинах,

о возможности взаимной любви, о Павле и Виргинии... Или, вглядываясь, насколько можно, во внешний свой образ, видеть, как мало было во мне тогда яркого, как мало драмы проявлял я тогда волею и неволею... Личность моя этого возраста, когда я смотрю не нее теперь внимательно, ничем не бросается мне в глаза. Ряд бессвязных картин, не одушевленных ни чем-нибудь особенно горячим, но сложным и страдальческим, ни успокоительно-торжественным, которое не могло и существовать в эти неопределенные годы -- вот что я помню. Огромная крепостная стена с башнями и брешами, неясное воспоминание о 12-м годе, бродящее по старому городу... большие лужи за стеной и цветы, которые я рву на берегах... садик за домом дяди; много часовен, ворот с образами и церквей; иногда (не раз я это помню) звонили к вечерне в этих церквях, а я сидел в саду и слушал звон, и помню, что мне было хорошо, что меня приятно томило...

Жил я очень одиноко. В доме было просторно и богато, но безжизненно. Здесь уже не ходила тетушка в белом капоте с оборками

в день святителя Мокия молиться об отвращении града от полей; здесь некому было закапывать под межевые столбики стклянки с святой водой; здесь не крестили кукушку, не наряжались на Святках, забывали на Троицын день украшать углы березками. Но зато здесь я выучился впервые принуждать себя; дядя запретил раз навсегда Терентию обувать меня в постели, приказывал рано будить, говорил по-своему о твердости и дворянской чести. Надобно заметить, что Марья Николаевна нарочно два раза приезжала к дяде в город, чтоб со мной повидаться. Всякий раз любовь моя ко всему, что жило и дышало в ее деревне, пробуждалась с новою силой. Но, кажется, этой-то любви и боялся дядя. И Марья Николаевна сама не соглашалась брать меня к себе на лето. Дядя не хотел, чтоб мои уроки прерывались, и та теплота, которой обдавало мое воображение при одной мысли о каком-нибудь дереве Подлипок, о собаке какой-нибудь, не говоря уже о ' людях, была, конечно, ему не по вкусу. Желая сделать из меня человека, он опасался добродушного растления Подлипок. Он говорил даже прямо об

этом: "Я знаю, тебе, хочется к тетке; да я не пущу. Сестра слаба, а я твоего отца любил и не хочу, чтоб ты сделался Митрофаном. Я лучше сына отпущу туда: тот флегма, а для тебя нужна ежовая рукавица!" Сестра слаба! Какая презрительная мина! И это говорил тот самый дядя, который в детстве, по собственному рассказу, рыдал однажды на улице оттого, что уронил и ' разбил хрустальную игрушку, купленную им на последние деньги для Маши, для единственной сестры! Как ни страшен был иногда дядя, но я слышал в нем родную кровь и видел общие точки привязанностей; я упивался его редкими, любопытными рассказами о турецкой войне, о польской революции, о том, как он был проколон пикою и как над головой его занесена была сабля, как целую ночь проспал в луже и как сам главнокомандующий на другое утро ободрял его и угощал водкой с кренделями. Однажды мы вместе с ним гуляли зимним вечером по общественному саду; дорожки были расчищены, деревья в инее, а небо все в звездах...

-- Видишь, как много звезд, -- сказал он, остановясь и поднимая лицо к небу. -- Как

они хороши, как они блестят! И это все миры. И там, быть может, такие же люди, как мы с тобой... веселятся, тоскуют, хлопочут, умирают... Сказавши это, он вздохнул, и мы пошли дальше. Он все-таки казался мне лучшим лицом в доме. Тетка продолжала быть совершенно чуждою той поэтической струне, которая мало-помалу начинала озаряться во мне сознанием. Ничего, кроме пустых анекдотов и сплетен, от нее не услышишь; как попало одетая, в большом платке, едва причесанная, бродит она из комнаты в комнату, смотрит по окнам или схватит иногда роман, пробежит страницу и бросит. Француз Ревелье, которого мне наняли, был несносный старик угрюмого нрава. Он ходил в синем фраке с медными пуговицами и в красном фланелевом жилете, почти ни на что, кроме пива, не издерживал денег, сам штопал себе платье и целые дни проводил в своей комнате. Войдешь к нему, воздух тяжелый, сам он сидит, читает Аагарпа или играет на флейте. Спросишь у него, что он больше любит, романтизм или классическую трагедию?

-- Ah bah! j'aime tout ce qui est bon!

-- Скучно мне, мсье Ревелье!

-- Vous me sciez le dos avec votre "скучно"! Tracez vous un cerle et ne sortez pas de la!

С Петрушей мы не ладили. Он приезжал каждое лето из Петербурга, и всякий раз я был рад его приезду, как разнообразию, но всякий раз выходили у нас ссоры. Все мне не нравилось в нем: его аккуратное прилежание, его неразговорчивость, его физическая лень и вялость. Про него говорили, что он в "правоведении" ведет себя безукоризненно, и все профессора довольны им. А я своих учителей часто выводил из терпения: бывали минуты, когда я решительно не мог ничего понять. Я несся куда-то, смотрел в окно; в голове спутывалось все, урок с мечтой о славе, о любви и о войне, я не знаю еще о чем. Я глядел туманно на учителя и отвечал не то. И, несмотря на успехи в науках, которыми скромно гордился Пьер, я чувствовал, что я лучше его, умнее... Мы ни в чем не сходились. Сначала я еще любил воевать в саду, строил небольшие укрепления из кирпичей и брал их с криком, разбил однажды окно в хозяйской беседке и должен был, по приказанию дяди, купить

стекла на свои карманные деньги. Пьеру такие забавы казались глупыми и скучными. Раз, вначале, он попробовал было взять саблю и пойти со мной; я был рад и предложил ему брать редут с правой стороны, пока я буду лезть слева. Он согласился, и мы разошлись. Вот я рвусь, бьюсь изо всех сил, машу саблей, стреляю из пушек, жалуясь на боль, команду, борюсь и с громким "ура" взбегаю наверх! Петруши нет... Бегу через весь курган на правую сторону и вижу: мой правовед присел задумчиво на бревнышко и ковыряет землю саблей.

-- Что ж ты? -- кричу я.

-- Да скучно! -- отвечал он и побрел домой. В одно лето я лучше выучился ездить верхом, чем он в три года. Я всегда готов был вскочить на седло, подходил ко всем лошадям, трогал, ласкал их, даже кляч не оставлял в покое. Петруша ездил неохотно и робко, хотя и имел большую претензию быть знатоком в лошадях; он часто ходил удить рыбу на реку, а я презирал это стариковское занятие. Раз пришел он в сад вместе с Платошкой, своим любимым казачком.

-- Посмотри, Платоша, что это за умора, -- сказал он, -- Володя с ума сходит... Эх ты воин! Ну куда тебе? В саду тебе только с деревьями и воевать.

-- Уж не тебе бы, трусишке, говорить! -- возразил я ему. -- На старую водовозку боишься сесть! Ноги растаращишь -- сидишь как баба... Петруша покраснел.

-- Ну что? -- продолжал я, смягчившись немного в душе, но не желая явно уступить.

-- Что смотришь? На поцалуй мою ручку...

-- Цалуй мою.

-- Твоя желтая, гадкая, а моя, посмотри, какая!

-- Ишь вы какие нежные! -- заметил Платошка с негодованием. -- Из чего вы это взяли, чтоб Петр Петрович Да вашу ручку стали цаловать!

-- А чем он лучше меня?

-- У них папаша генерал, и сами они...

-- Молчи, мерзавец!

-- Ругаться не извольте; я дяденьке скажу.

-- Ах ты этакой! -- закричал я и дал пощечину Платошке изо всех сил. Платошка заплакал; я было хотел схватить его за волосы, но

Петруша кинулся, повалил меня и стал драть за уши, приговаривая: "Ах, ты молокосос, мальчишка, драчун!" Я вырвался в бешенстве и, подняв с земли свою тупую саблю, ударил Петрушу по руке, что было силы. Петруша закричал, Платошка закричал тоже, а я побежал домой как безумный. Я знал, что меня ждет. Мне уже пришлось испытать гнев дяди, и вот по какому случаю. Один небогатый дворянин желал отдать куда-то сына, на казенный или дворянский счет, не помню. Однажды дядя позвал меня в кабинет и заставил меня вынимать из шляпы билетки. В комнате было несколько человек дворян и сам предводитель.

-- Ну, это еще невинный ангел, -- сказал бедный отец, -- выньте мой билетик, красавчик мой!

Все окружили меня; я вынул билетик и прочел: "Золотников".

-- Мой, мой! -- закричал отец, расцаловал меня и обещал фунт конфект.

-- Вздор! -- сказал дядя, -- он не возьмет. Однако дня через три после этого я решился подойти к сыну Золотникова на гулянье и спро-

сил у него, когда отец намерен прислать мне конфеты. На другой день дядя увидел с балкона слугу Золотниковых и спросил у меня: что это такое он несет в бумаге, не знаю ли я? Я покраснел и отвечал: "Не знаю, право... право, не знаю!"

-- Поди, спроси у него, что ему надо.

Я вернулся с конфетами и сказал, опять краснея:

-- Это мне конфеты. Не знаю, зачем это он прислал!

-- А записки нет?

-- Есть. Я подал записку, и дядя прочел:

"Милый мой, Владимир Александрович! Напрасно вы думаете, что я забыл о своем обещании. Разные дела отвлекли меня. Посылаю и т. д."...

-- Так ты напоминал? -- спросил дядя, и глаза его заговорили. Я молчал.

-- А! взяточник и лгун! Хорош. Попрошайка и лгун! Да ты знаешь ли, что такое мужчина, который лжет?.. Негодяй!

Дядя позвонил. Вошел человек. Я обомлел.

-- Возьми эти конфеты, отдай их человеку Золотникова и скажи, что я... я, понима-

ешь? велел их отнести назад. Да приготовь мне в кабинете розги! Пойдем-ка. Я упал на колени, просил, плакал... Нет, ничего не помогло. Пришла тетка и тоже стала просить; но дядя не отвечал ей ни слова, взял меня за руку и увел с собой. Там Ефим меня больно сек, а дядя сидел на диване и смотрел. Тетка после этого позвала меня к себе и дала мне гофмано-вых капель. Испытавши все это, я понимал, чему я подвергаюсь, и решился на этот раз не быть робким и слабым. Петруша прибежал к Ревелье и показал ему свою руку, на которой вздулся красный рубец и в одном месте показалась кровь. Ревелье требовал, чтоб я просил прощенья, но я не мог видеть скромного генеральского сына без ненависти и отказал наотрез.

-- A genoux, mauvais sujet! -- кричал Ревелье, -- a genoux! Pss, pss, silence! Est ce qu'on ne rosse pas ici, comme partout ailleurs par hasard?

-- Еще бы не rosse! -- возразил я, -- в таком проклятом доме и хуже бывает! Кончено все! Я обречен на казнь. Отчаяние овладело мною, отчаяние и отвага. Петра Николаевича не было в городе, но я знал, что недели через две он

вернется, и рано или поздно я расплачусь за все. Александра Никитишна также узнала об этом; она прибежала ко мне в

бешенстве и начала было: "я тебя, да я тебя!" Но я презрительно молчал, и она успокоилась.

Прошло недели с полторы. Дядя не возвращался, а Петруша, казалось, забыл оскорбление; запустив руки в карман и посвистывая, шатался он по комнатам, или шел себе удить рыбу, так что мне иногда становилось его жалко. Тетка обращалась со мной по-прежнему. Она очень любила нарушать обыкновенный порядок дня -- пить чай или кофе не вовремя, посылать за сыром ни с того, ни с сего, но не при муже. Нередко приходила ко мне горничная, когда дядя был в гостях или в присутствии, и таинственно звала меня на теткину половину; иногда же и сама тетка говорила мне с глазу на глаз:

-- А не выпить ли нам чайку, Володя? Как ты думаешь, дядя твой не узнает?

-- Выпьемте; что ж!

-- Ты, смотри, не проболтайся; он ведь, ты знаешь, месяц меня за это будет точить, ска-

жет mauvais genre, беспорядок, харчевня... Вот так-то случилось нам и теперь вдвоем с нею пить кофе; она объявила мне, что дядя будет завтра.

-- Ты не рад, кажется?

-- Чего же мне, ma tante, радоваться? -- я отвечал ей. -- Я знаю, что меня высекут.

-- А ты зачем напроказил?

-- А зачем они с Платошкой мою дворянскую честь унизили?

-- Скажите, какой фарное! Ну, пей, пей кофе. Я уже ничего не скажу и Пьер тоже. Если бы захотела, разве я не могла бы сама тебя наказать?

-- Еще бы! конечно бы могли!

Она уговорила Петрушу оставить это дело так; "отец расстроится, будет шум, что за охота". Петруша обещал молчать и смолчал. Долго меня смущала мысль о его великодушии.

Вся эта обстановка привела к тому, что я, подростки, всем сердцем стал понимать слово "сирота". Не раз пла'

кал я, один-одинешенек, жалуясь на то, что здесь меня никто не любит и что я всеми покинут. Я писал страстные письма в Под-

липки, иногда клялся все сносить и ждал терпеливо той минуты, когда мне можно будет вернуться домой; иногда уверял, что я жду смерти и верно никогда не увижу ничего и никого домашнего. Я берег с благоговением не только образ в окладе, благословение Марьи Николаевны, но и закладку из бисерной канвы с вышитым *souvenir*, которую прислала мне Вера, и подарок Аленушки -- маленькую чашку старинного фарфора, с белыми овечками на лугу и хижинами вдали, глядя на которую и вспоминая о бедной уже умершей тогда мадам Бонне, я повторял стихи:

Dans ces pres fleuris Qu'arrose la Seine,  
Cherchez, qui mene Mes cheres brebis.

J'ai fait, pour vous rendre Le destin plus doux...

На самую книжку, которую дала мне на память мадам Бонне, стихотворения г-жи Дезульер, я долго смотрел как на заветный талисман и долго, даже гораздо позднее, находил в ней больше поэзии, чем в самых гениальных вещах. В Подлипках, казалось мне, никто не страдает -- все цветет и зеленеет; лай собак, пение петухов, шум ветра многозначитель-

нее, не такие, как в других местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают меня, и умирать там, должно быть, легче, чем где-нибудь в другом месте! Годам к 16-ти и сознание добра и религиозное чувство стали во мне сильнее. Не раз вечером нарочно уходил я из дома и клал по два, по три рубля в церковную кружку на углу; нищим стыдился подавать так, чтоб мне было нечувствительно: подавал серебро, а не медь, постился, вставал к ранней обедне, чувствовал себя крепче и светлее, когда ел просфоры; не уходил никогда прежде конца службы из церкви, вспоминая слова тетушки: "кто уходит рано из церкви, тот, как Иуда, который ушел с тайной вечера до конца".

К грусти одиночества, к страху наказания за гробом, к надежде на помощь в жизни приmeshивались и другие чувства. С одной стороны, память о картинах детства жила неразрывно с молитвами и надеждами; в воображении я видел тетушкин кивот с лампадой... Как вспомнишь об нем, о ней самой, о ее спальне, о коврике, о беззаботном счастье, так и потянет душу и домой, и на небо! Когда

случалось мне уйти прежде срока из церкви или рассыпать на пол крошки просфоры, я казался сам себе грубым оскорбителем чего-то невинного и снисходительного. Любил я также иногда читать священную историю. Когда, под конец ветхого завета, становилось, в последних главах книжки, как-то пусто и мирно, и строгие римляне были уже тут, чувство чуть слышного, едва заметного, сладкого ожидания шевелилось во мне. Заря лучшей жизни как будто ждала весь мир... И не было еще света, а было грустно и легко. Вот родилось бедное дитя в Вифлееме... Как хорошо в этих сухих пустынях, где растут только пальмы и люди ходят босые в легких одеждах! Вот уже и Петр плакал ночью, когда пел петух, и я плакал с ним; все стемнело -- камни расселись, мертвые встали из гроба и пошли в город, раздралась завеса во храме... Передо мной картинка... Христос является на минуту двум ученикам, шедшим в Эммаус. Какой-нибудь бедный городок этот Эммаус; трое небольших людей спешат из какой-то долины; на них развеивается платье; с боку скалы, а вдали куча мелких домов с плоскими крыша-

ми... Как опустело все! Точно после обеда, когда уже не жарко, войдешь в большой зеленый сад, которым никто не пользуется, и где только тени деревьев становятся все длиннее и длиннее... Как будто самый близкий человек уехал из дому и из сада этого, по которому он мог бы гулять, если бы хотел. И уже начинается что-то новое, чуть брезжится... А что? И тогда не умел я сказать, не умею и теперь.

Мелькнет такая мысль, явится чувство на миг -- и опять влачатся простые дни: классы, прогулки с Ревелье, обед, за которым и дядя, и тетка, и я просидим почти все время молча. К несчастью, я не мог даже скрыть своей набожности, и слова Александры Никитишны: "что это Владимир наш в святость ударился?" способны были одни уже запятнать прелесть моих тайных ощущений. В 17 лет наконец бежал я от дяди в Подлипки, и главной причиной моего побега было что-то вроде любви.

Х К этому времени я уже решил быть статским. Самый гражданский костюм стал мне нравиться. Я слил в одно смутное представление множество образов, особенно французских: Родольфа "Парижских тайн",

каких-то умных и смелых людей, управляющих на Западе, в модных фраках с бакенбардами или бородами, с сияющим бельем, Байрона, Онегина, даже порочного, но непобедимого Сципиона из "Мартына-найденыша", артистов в острых шляпах, с длинными волосами, смелых студентов в широких клетчатых панталонах... Все это составило одну величественную, переливающуюся из образа в образ идею; все это шептало мне о чем-то высшем, чего я тогда назвать не умел и в чем позднее узнал гения свободной гражданственности, новой мысли и изящных нравов, гения, открывавшего себе дорогу в тщеславное и неопытное сердце одеждами, прическами и всеми соблазнительными внешними правами на общественный успех. Все это совершалось постепенно в течение четырех-пяти лет; все было неясно, отрывочно, не сознано... Сначала, только что приехав, я любил брать у дяди большой портфель с раскрашенными рисунками всех гвардейских мундиров, переводил их старательно на стекле, тушевал, зарисовывал и думал долго тогда: кто счастливее -- гусар ли на серой лошади, в красном

ментике и голубых брюках, или этот кавалергард в белом колете с

красным воротником, или конный гренадер, у которого развевается сзади пунцовый язык на мохнатом кивере, когда он несется во весь опор? Когда дядя, увидав эти рисунки, сказал мне, что "о мундире я мечтаю напрасно", я просто ужаснулся. Не зная, что сделать, чтоб смягчить его и доказать, как он не понимает моего призвания, я силился заплакать. Но дядя снисходительно спросил, отчего мне так противна статская служба.

Я долго боялся сказать настоящую свою мысль, но наконец преодолел страх.

-- На статских в свете, mon oncle, не смотрят, даже дамы и те... Дядя засмеялся и перебил меня:

-- Каков ловелас! в четырнадцать лет! Какой же ты свет-то видел? Ты видел свет плохой. Нынче совсем не то... И если б мне пришлось начинать теперь... Тут дядя как бы с грустью кивнул головой, потом дружески взял меня за ухо и прибавил:

-- Ничего, не плачь. Что за баба! Будешь образованный человек. А я тебе подарю тогда

брильянтовые запонки на рубашку.

Запонки и ободрение дяди успокоили меня, и через сколько-то времени, не помню, уже окрепший карандаш мой чертил эскизы нового рода из головы. Вот дуэль. Молодой человек безбородый, кроткий, с длинными волосами падает на руки секунданта; он ранен в грудь шпагой соперника. Сопернику уже тридцать лет (я смотрел на этот возраст враждебно); у него густые бакенбарды и длинные усы. Женщина в шляпе стоит на коленях... Там плантации, лианы, пальмы и бананы. Молодая американка вышла замуж за прекрасного индейца; у нее уже дети. Там черная маска; все юноши торжествуют. Романы в эскизах на полулистах длятся-длятся без конца; мне жаль покинуть моих героев. И они все французы, англичане, американцы, все во фраках, в жакетках, в пальто, с бичами; русская жизнь не представила мне тогда ничего приблизительного; мужчины, которые по четвергам собирались у дяди играть в карты, возмущали меня своей прозаичностью, ухарством или тупостью. Насилу-насилу удалось мне встретить на одном вечере двух молодых

людей в белых жилетах и таких фраках, какие мне были нужны. Я упивался своими героями, упивался и женщинами, упивался сам собою. Однажды весной сидел я под цветущим кустом черемухи и с бешеным восторгом читал Гомера. Когда я дошел до того места, где Ахиллес, оставив у себя на ночь старика Фенокса, ложится спать с наложницей, а около Патрокла тоже возлегает девушка тонкая станом, я бросил книгу.

Для чего эта весна? Зачем эта черемуха в цвету, если нет настоящей жизни, нет подружки молодой, сверстницы Виргинии, или Manon Lescaut? Я и на то и на другое согласен. А лучше всего и то и другое вместе. Но не брак ли это? Да, если б жениться теперь втайне, встречаться здесь под черемухой, любить друг друга до иступленья, до бешенства, до боли... Потом говорить, читать... вместе. А то что брак в тридцать или тридцать пять лет? Как это пошло, обыкновенно! И что хорошего находят девушки в этих загрубелых лицах, в этих изношенных сердцах?.. Неизящное, простое не соблазняло меня. О, нет! такого я боялся, хотя уже давно в душе развязал клятву о

безбрачии до брака. Была у дяди в доме высокая, белокурая девушка Лена (я после узнал, что тетка имела право не любить ее); эта Лена, не знаю почему, любила шутить со мной. Так как внизу было много пустых комнат, и она жила недалеко от меня, то нам случалось встречаться нередко. Она бросалась за мной, загоняла в угол, смеялась, целовала, щипала меня; она была сильнее меня, и я с трудом от нее отделялся. Я не решался ни ответить ей грубо, ни оттолкнуть ее сильно, потому что здесь дорожил всяким вниманием, всякой лаской, а она готова была всегда услужить мне с добродушием и веселостью. Но я смущался и избегал ее, потому что она напоминала мне -- годами ли своими, разговором ли, или ростом и дородством -- непостижимые по своей грубости грехи взрослых. Нет, не того мне хотелось. Я желал бы найти милую сверстницу, невинную, чистую, страстную, как я, стыдливую для всех, кроме меня; чтоб она, в локонах и фартучке, с книжкой в руке, гуляла где-нибудь в лесной стороне под липами, около старой колокольни, поросшей мохом.

Вполне такой я не нашел, но встретил Людмилу Салаеву, дочь одного советника, и убедился на время, что я не хуже Онегина, потому что она сделала первый шаг сама.

Советника дядя любил и звал его Фабием Кунктатором за то, что он очень долго обдумывал ходы в преферансе. Однажды он завез меня случайно к Салаевым, и тут я в первый раз увидал Людмилу. Она еще не носила длинных платьев и стриглась в кружок. Такая прическа доставляла ей случай очень кстати взмахивать головой, и при этом движении голубые, немного выпуклые глаза ее взглядывали искоса и вниз как нельзя лукавее. Она сама заговорила со мной в зале, села на стол, около которого я стоял, и спросила, люблю ли я театр. Я отвечал, что люблю, но бываю в нем редко.

-- Как это можно редко бывать! Театр... это блаженство! Мстиславского трагика знаете?

Но тут гувернантка отозвала ее. Немного погодя нас очень сблизил детский маскарад, который дал губернатор для меньшей своей дочери. Советник упросил дядю отпустить меня, и дядя не только отпустил, но даже дал де-

нег на костюм. Я знал, что я буду в паре с Людмилой, и мне хотелось, чтоб нас одели Гамлетом и Офелией. Я предлагал надеть на Людмилу белое атласное платье со шлейфом, украсить ее голову венком из белых роз, а сам хотел быть весь в черном бархате, в ' берете с длинным пером, с золотой цепью на шее. На такую одежду недоставало дядиных денег, и замужняя дочь советника, которая заведывала всем, сказала, что маленькая Людмила со шлейфом будет точно мартышка. Тогда решили ее одеть Розиной, а меня Фигаро; костюмы вышли очень хороши. Вязаные, красные с золотом колпаки, ее короткая юбка с черными кружевами, мои атласные панталоны и бархатная куртка, перчатки, духи, платки наши - все было великолепно. Когда мы вошли под руку в гостиную, где ждало нас семейство советника, все вскочили и начали хвалить нас. Отец обнял дочь и посадил с осторожностью, любуясь ею, к себе на колени, а замужняя сестра Людмилы начала целовать меня, называя персиком и настоящим южным смуглым красавцем.

-- А он будет со временем иметь успех, --

сказала она, обращаясь к отцу, -- у него вся наружность как у героя романа. Посмотрите, папа, какие у него черные волосы и огромные черные глаза!

-- Еще бы! -- отвечал отец, -- держи ухо востро! Каково мне было это слышать? Я не могу уже теперь

ясно представить себе моего блаженства. Ожидание торжества, гордость, какие-то страстные движения к Розине, карета, в которую мы сели, ночь, мороз и освещенный дом губернатора, наше вступление в залу, хвалебные восклицания старших, кучи гимназистов, которые смотрели с почтением и вниманием на меня, когда я, заложив за жилет руку в палевой перчатке и напрягая икры, проходил мимо них... Вот как была полна жизнь в этот вечер!

Первую кадрили я танцевал с Розиной; вторую с меньшей дочерью губернатора, которая была слегка коса, но в высшей степени грациозна и миловидна; потом с старшей ее сестрой, мазурку опять с Розиной. В разговорах я был небрежен и оригинально-насмешлив, отчасти вспоминая манеру брата Нико-

лая.

-- Посмотрите, -- говорил я, -- как этот пу-  
тейский офицер похож на орангутанга.

-- Quelle idee!

-- А кто эта девица в платье небесного цве-  
та? Какие У нее сонные глаза...

-- Это моя кузина.

- Ah, pardon! Как эти гимназисты стучат са-  
погами! Я Давича думал, что это лошади взо-  
шли.

Когда мы с Людмилой пошли польку и де-  
лали *pas de majeste*, все аплодировали нам.  
Такого упоенья я долго не Испытывал после и  
едва ли испытаю еще раз в жизни. Весь следу-  
ющий день я еще не мог прийти в себя и на-  
писал Марье Николаевне огромное письмо с  
раскрашенными виньетками собственной ра-  
боты; главные костюмы были тут, и сам Фига-  
ро. Я называл себя царем бала, а Людмилу ца-  
рицей. Тетушка, говорят, прослезилась над  
этим письмом; недавно, перебирая ее бумаги,  
я нашел этот грустный образчик тщеславного  
самораствления и разорвал его в клочки. По-  
сле этого вечера дядя стал позволять мне ино-  
гда по субботам ездить к Салаевым. XI

Александра Никитишна, замечая иногда, что я грущу, говорила:

— Э, да сегодня суббота! Ну, постой, я пойду попрошу у дяди для тебя сани. И всякий раз почти выпросит. Тогда-то торжество! Я обращаюсь в Онегина: Уж поздно. В сани он садится. Поди! поди! раздался крик. Морозной пылью серебрится

Его бобровый воротник... И воротник у меня даже был бобровый.

Где я найду такое гостеприимство? Любезности моей изумлялась вся семья. Там я становился до того разговорчив и развязен, что не уступал ни одному из взрослых молодых людей, служивших у нас в городе, в остроумии, насмешливости и говорил иногда такие французские фразы, что до сих пор, вспомнив об них, стораю от стыда. Я даже помню некоторые из них, но не повторю их здесь ни за что. Кроме пятнадцатилетней Людмилы, у советника было еще трое детей: сын моих лет - Митя, очень грубый повеса, и две дочери: одна замужняя, другая девушка лет восемнадцати, довольно свежая и простенькая, по которой вздыхал высокий гим-

нацист Юрьев.

Домом Салаевых управляла старшая, замужняя дочь, г-жа Дольская. Женщине этой было не более двадцати пяти лет; пять лет назад она пленила мужа своего, человека скромного, смиренного и богатого, своим сценическим, истинно замечательным талантом. Все лучшие роли в благородных спектаклях исполняла она превосходно; роль Софьи Павловны, Кетли, молодой причудницы в пьесе "В людях ангел, не жена" всегда предлагались ей. Она самой бесцветной роли переводного водевиля умела придать жизнь и привлекательность. К тому времени, как я познакомился с нею, лицо ее уже поблекло; кожа на нем была красновата, под глазами были небольшие мешки, как у полнокровного отца, но сами глаза еще были хороши, и стан еще был гибок и строен. Держала она себя с ленивым достоинством, танцевала хорошо, умела из немногoго создать красивый и своеобразный наряд, говорила об искусстве с живою, хотя и одностороннею ловкостью, потому что вкус ее воспитан был, конечно, только французскими пьесами. Девицей она была

необыкновенно тонка, никогда не перетягивалась. Талья ее пережила свою славу, и муж ее хвалился, что он когда-то мог обхватывать ее обеими руками. Тот, кто полагает, что для семейного мира необходима строгая нравственность, очень удивился бы, узнав это семейство. Отец никогда не бранил дочерей, а гувернантку, смуглую и еще не старую девушку, ласкал как Дочь и звал ее Настей. Настя только изредка и робко пыталась останавливать меньших дочерей. Дольский содержал все семейство и почти не жил дома.

В красиво убранной и веселой гостиной была в углу плюшевая беседка, и там на эсе с г-жею Дольской поочередно сживали сам губернатор, молодой прокурор с энергичным подбородком, приезжие из Петербурга, военные, жандармский полковник, белокурый двадцатилетний красавец инженер и даже, как говорят, одно время сам Петр Николаевич. Тетка Александра Никитишна не раз, возвращаясь откуда-нибудь, говорила при мне своим грубоватым языком:

— Эта противная Дольская опять губернатору вешается на шею. Давно ли, кажется, она с

Федоровым возилась... какая дрянь!

-- Такой умной, ловкой женщине все позволительно, -- возражал ей иногда дядя.

-- Не знаю, -- ответит тетка и пойдет, бывало, наденет огромный платок и ходит "расхлебсией", как выражалась про нее Марья Николаевна. Я, разумеется, предпочитал г-жу Дольскую дешевым добродетелям Александры Никитишны. Часто, когда после обеда отец Салаев спал, садились мы с Юрьевым около наших девиц и дельно беседовали с ними.

-- Мне ваше лицо с первого взгляда понравилось, -- говорила мне моя подруга, -- оно неправильно, но очень приятно. Я тотчас почувствовала к вам дружбу. Конечно, это не страсть. Я знаю, что такое страсть... Вы видели актера Мстиславского в Гамлете? Как он дивно хорош!

-- Да, он хорошо играет, -- говорил я, жалея, зачем она ставит меня ниже этого взрослого Мстиславского.

-- Хорошо? Только?.. Подите; я не хочу с вами говорить. И Людмила вставала; потом тотчас же возвращалась снова и продолжала:

-- Если вы не будете говорить, что он дивно

играет, я с вами навсегда поссорюсь...

-- Не сердитесь; я буду говорить, что он дивно играет, -- отвечал я без особого страха, потому что любил больше картину моих сношений, чем самую Людмилу.

-- Ну, смотрите же. Я вам скажу, как я его любила. Когда раз мы уезжали из театра, он стал подсаживать нас в карету и взял меня за руку повыше локтя... У меня были короткие рукава. Знаете, что я вся задрожала! Я молчал обыкновенно, никак не понимая, что она находила в этом 40-летнем великане, который ревел на губернской сцене... Пока мы говорили с Людмилой, Юрьев и Маша сидели в углу и тоже шептались. Иногда по вечерам Дольская играла нам на фортепьяно, и мы танцевали. Я предпочитал всегда мою Людмилу, а Юрьев, почтительной рукой издали обвиняя полный стан Маши, опускал глаза и, улыбаясь, галопировал с другой стороны. Высокий, бледный, уже давно брившийся Юрьев казался платоническим мечтателем. Он судил о жизни по старым русским книжкам, и идеалом человека для него были Рославлев и Леонид г. Зотова. Когда взаимная помощь, ко-

тору и мы друг другу оказывали по сумеркам у Салаевых, сблизила нас, я узнал, что он боготворит женщину, но женщин боится.

-- Они коварны, -- говорил он и рассказывал мне об одном Владимире и графине. Владимир любил графиню страстно и безумно. Графиня любила тоже Владимира, но изменила ему. Владимир, затаив на время злобу, пришел ночью в ее роскошный будуар и раздавил над лицом ее стклянку с такой едкой жидкостью, что она уже никому не могла после этого нравиться. В другой раз он прочел мне свои стихи: Когда блеснет востока луч

И, грустный путь мой озаряя, Прогонит сонм зловещих туч,

К тебе тогда, о грудь младая! Я припаду, желаний полн .

О, прочь сомнения, тревоги! Средь холода житейских волн

Мы счастливы, как боги... И что прелестнее отрады -

Душа с душой сляясь тонуть .. Прочь, света гнусные преграды,

Прочь, терние замкнувши путь! Но жди еще в тоске бесплодной!

Минута счастья не близка, И голос разума  
холодный

Грозит тебе издалека. Я покровительствен-  
но хвалил стихи, и скромный гигант дал мне  
списать их; я тоже сочинил стихи для Людми-  
лы на французском языке, и у меня остались  
в памяти только два стиха:

Ta taille legere Comme une mince fougere...

Я пробовал читать их Юрьеву, но он ска-  
зал:

-- Ничего нельзя понять; это не по-нашему,  
-- потом, вздохнувши и взяв меня за руку,  
прибавил:

-- Не женись, Володя, на француженке; у  
них все фальшивое -- и душа и тело. Возьми  
лучше русскую, добрую. Господи, как подума-  
ешь, какая это счастливая тебе достанется! А  
мы-то, мы-то...

-- Отчего же, -- возражал я, -- и ты можешь  
нравиться женщинам. Надобно иметь только  
манеры. У тебя вовсе нет манер, но ты мо-  
жешь их приобрести.

-- Нет, уж без манер-то мы, благодаря Со-  
здателя, проживем! Людмила не всегда кокет-  
ничала; иногда делала она за меня переводы

или немецкие спряжения и приготавливала красивую тетрадку из голландской бумаги, сшивая ее голубым шолком, так что мне оставалось только переписать и подать учителю. Я мог бы долго так блаженствовать, если б не увлекся и не вздумал обманывать дяди. Иногда не в субботу и не в праздник приходил я к Ревелье и уверял его, что дядя меня отпустил к Салаевым. Ревелье говорил, что ему нет до этого дела, *puisque votre oncle est assez fou, pour autoriser la debauché*; однако это скоро дошло до дяди; меня кликнули к нему в ту минуту, как я только разodelся впрах и хотел идти.

Дядя осмотрел меня с ног до головы.

-- Что ты это думаешь, что ты, в самом деле, какой-нибудь денди? Ты этого, любезный мой, не воображай. Дурак дураком! Булавку еще вздумал в галстух втыкать! И где ты видел, чтоб порядочный человек стал носить бронзовые булавки? Пожалуйста, брат Владимир, оставь подобный вздор. Посмотри на меня: я встаю в семь часов и не разгибаючи спины сажу над бумагами.

-- Помилуй, Петр Николаич! -- заметила

тетка, -- разве ты не знаешь, что он влюблен в Людмилу? Сама Дольская говорила мне об них...

-- Что-о-о?

-- Ах, ma tante, что вы это? Какой я влюблен; неужели бы я лучше ничего не нашел! Дядя презрительно засмеялся и встал.

-- Каково? Bravo! Да ты, я вижу, Дон Жуан! -- кричал он, подступая ко мне, -- а? говори, ты Дон Жуан?

Он смотрел мне прямо в глаза, точно смотрел на Терентия в день моего прибытия в его дом.

-- Нет-с, я не Дон Жуан...

-- Ну, как же нет! я теперь буду звать тебя Дон Жуан подлиповский, слышишь? А ходить туда и не смей. Ступай, денди, разденься. Булавки этой чтоб я не видал, Митрофан!

Целые полгода я не бывал у Салаевых. XII

К весне тетушка Александра Никитишна занемогла смертельно. Сначала она не выходила из комнаты и кашляла, а потом перестала вставать с постели. Дядя все свободное время посвящал ей, читал громко, ухаживал за ней и на меня не обращал почти внимания.

Однажды, в добрую минуту, великим постом, он уступил мне свой билет в концерт. В зале дворянского собрания было довольно много народа, а я давно не выезжал никуда; глаза у меня разбежались -- я заслушался музыки и не заметил сначала, что в трех шагах от меня сидели Салаевы. Обернулся... Людмила! В розовом кисейном платье, подростшая и созревшая, она сверкала глазами. Она навела на меня лорнет и улыбнулась. Я робко подошел к ней и объяснил, что не мог бывать, потому что... потому что...

-- Оставим это, -- сказала Людмила, играя лорнетом, -- когда вы к нам будете?

-- Право, я не знаю.

Дня через два пришел ко мне Юрьев и принес записку; я прочел в ней следующее: Я вас люблю; чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презрением наказать.

Я спросил у Юрьева, знает ли он содержание записки; он отвечал, что не знает, что, отдавая, она сказала ему: "Надеюсь на ваше благородство". Я показал ему записку и не знал еще, радоваться ли мне или смеяться. Юрьев,

кончив, грустно взглянул на меня и сказал, покачав головой:

-- Зачем ты мне дал прочесть, Володя? Девочка любит тебя, а ты глумишься!

-- Я ведь дал тебе только...

-- Эх, Володя! Ветер, Володя! Больше ничего не сказал Юрьев об этом. Я решился ходить к ней тайно от дяди. Весна приближалась, и я уже не раз и не два, а три и уже более раз в неделю спешил спуститься с горы, где, на углу небольшой площадки, стоял, почти на конце города, трехэтажный купеческий дом и где свет из окон бельэтажа уже издали обещал мне блаженство.

Юрьев, напротив того, около этого времени поссорился с Машей и, несмотря на то, что его в доме принимали очень хорошо, несмотря на то, что сам старик Салаев звал его всегда "муж разума и чести", стал ходить к ним гораздо реже.

-- Отчего тебя не видать? -- спросил я его однажды на улице.

-- Все это дребедень. Я хочу написать стихи с припевом: Дребедень, дребедень, Твержу целый я день.

-- Неужели ты мог так скоро разлюбить? Любовь такое отрадное чувство...

-- Не знаю, -- отвечал Юрьев.

-- А платок?

-- Какой платок?

-- Помнишь, ты сам мне рассказывал, что раз в сумерки ты стал перед ней на одно колено, а она заплакала и уронила платок. В это время кто-то вошел, ты встал, поднял платок и подал ей.

-- Ну-с, это я, должно быть, для форсу вам сказал. Поди-ка с вами! Ведь вы, шутка, вице-губернаторский племянник... Надо ж вам понравиться. Причудливая Людмила теперь стала гораздо нежнее. Никто не препятствовал нам беседовать. Гувернантка Настя вздумает заметить ей иногда, зачем она слишком долго сидит со мной, но Людмила с полуулыбкой и косым взглядом посмотрит на нее и скажет:

-- Что с вами? вы злы сегодня? Оставьте нас. Так что ж вы говорили, pardon... Она не будет больше злиться, продолжайте.

-- Я говорю, что в мои года мужчины больше всего заслуживают любви.

-- Почему это? Вы так молоды. Какая у вас славная цепочка! Покажите.

-- В эти года все чувства свежее и сильнее. Eugene Sue говорит...

-- Разве вы недовольны? Чего ж вам еще? Ах, кстати, отдайте мне то... Вы знаете...

-- Что такое?

-- То, что я вам писала.

-- Право, со мной нет. Я принесу вам в ту субботу.

-- Как! Вы осмелитесь мне принести? Вы расстанетесь с ним? Подите прочь -- у вас нет сердца! Вы лед. Я не хочу с вами сидеть... Паша! сыграй нам Анну-польку... Митя! пойдём.

-- А со мною? Не хочу! Иногда она бывала гораздо грустнее.

-- Будешь ли ты верен? -- спрашивала она шопотом, пожимая мне руку.

-- Еще бы!

-- Будь! Не забывай меня. Я без тебя жить не могу. Согласитесь, что это было приятно. Но Митя отравлял все мои удовольствия. Я никогда в жизни не видал ничего отвратительнее его. Отец принужден был взять его из корпуса, потому что там беспрестанно нака-

зывали за лень и шалости. Жирный, краснощекий, курносый, маленький, он совался везде в курточке и с отложным воротником, ездил везде в собранья, лез ко всем взрослым, вмешивался в разговоры. Дома затеивал шутки одну грубее другой; перепортить работу сестрам, наглубить снисходительному отцу, зажарить живую кошку в печке, индюшке ни с того, ни с сего отрубить голову -- вот его любимые дела. Бедной старой француженке, гостившей у них одно время, он насыпал на голову целую коробочку с такими насекомыми, которых я назвать не хочу. Мне он всегда старался досаждать, хотя и говорил, что очень меня любит, звал меня Володей и подольщался иногда ко мне с гадкою улыбкой. Входишь, бывало, в гостиную... так славно идешь... На столе лампа, ковер. Старик сидит на диване с трубкой, такой красный, седой, почтенный; Маша и Людмила работают около него или читают громко; Дольская с кем-нибудь на эсе... Идешь разодетый, причесанный, поклонись -- а он вдруг выскочит из угла и схватит за ногу, которую отставишь, чтоб шаркнуть. Раза два я чуть-чуть не упал. Иногда так

ловко отстегнет штрипку, что я и не замечу, и хожу -- а штрипка болтается. Были у меня на одной курточке рельефные бронзовые пуговицы с кабаньими, оленьими и собачьими головами; я их очень любил, а он измарал их мне потихоньку каким-то составом. Однако я был сильнее его, и он боялся меня, несмотря на всю свою наглость. Начнет рассказывать что-нибудь, непременно развратное, грязное, грубое: о том, как поступили офицеры или приказные с какой-нибудь несчастной женщиной, как жена мужа надула и что из этого вышло; показывает самые грязные картинки, которые называет почему-то соблазнительными... Меня никогда ничто подобное не могло соблазнить; я слишком высоко ставил чувственные наслаждения; я дорожил своею невинностью не для невинности, которую вообще не ценил, а для того, чтоб быть достойным чего-нибудь изящного. И какие-нибудь пьяные стихи, особенно наши русские, какое-нибудь непристойное сочинение XVIII столетия, где мать, дочь и гувернантка предаются самой необузданной жизни -- все это возмущало меня и все это нравилось Мите.

Вероятно, он и сначала в душе не жаловал меня. Отец, сестры, зять, все ставили меня ему в пример, даже при мне беспрестанно говорили, что я умен, образован, так хорошо одет, так скромн и любезен... Он, вероятно, чувствовал ко мне то, что я чувствовал к Петруше дома. Это была зависть и досада более буйной натуры против сверстника более приличного, сдержанного и благоразумного. Но Митя не старался с намерением вредить мне, пока не приехал из Москвы погостить на лето к Салаевым двоюродный брат их, Березин. Он был годом старше меня; бледное лицо его было довольно красиво, но постоянно выражало каприз и гордость. Родители его имели состояние и очень хорошо образовали его. Он слыл за дельного ученика; по-французски говорил не хуже меня, а по-немецки гораздо лучше, выписывал сам на карманные деньги русские журналы, много читал, а еще больше разрезывал листы и ставил книги на полку. Встретившись в первый раз, мы робко наблюдали друг друга и разговор начали так:

-- Очень приятно познакомиться, -- сказал я. -- Очень приятно.

- Вы в Москве живете?
- В Москве.
- Какие вести с Запада?
- Бюжо разбил мароканцев при Исле.
- А! Бюжо! я очень рад.
- Вы что теперь читаете?
- Les trois mousquetaires.
- Французская литература пуста! -- воскликнул он. -- Вот Шиллер, Гете, наш Гоголь...
- Кто это Гоголь?
- Как, вы не знаете Гоголя? неужели? Это великий поэт; это молодой человек, красавец собой, с черными кудрями до сих пор. Ни одна женщина не может устоять против него, когда он посмотрит... вот так... Он теперь в самых близких сношениях с графиней Неверовской.

Как не взять поэта, против которого и графиня не имеет сил! Быть может, он научит меня, даст мне в руки неслыханное орудие! Березин дал мне Гоголя и указал на статьи Белинского. Благодаря ему, я вдруг погрузился в совершенно новый для меня поэтический мир, где о высоком говорилось таким своеобразным языком, где смех был неслыханного

рода, но как-то непостижимо знаком и близок самым недрам моей души. Белинского я каждое после-обеда с педантической честностью клал на вышитый пюпитр и читал его, местами наслаждаясь, местами только уважая себя за способность смотреть на такие строчки. Бывало, в голове потемнеет, а на душе легко и пройдешься раза три гордо по комнате или отворишь окно и показываешься прохожему: пусть; мол, знают, какой человек тут живет! В связи с этими драгоценными ощущениями во мне быстро выросло расположение к начитанному сверстнику, и беседы с ним стали мне тем более дороги, что Юрьев, Бог знает почему, около этого времени стал отдаляться от меня. Ко мне он вовсе не ходил; у Салаевых был всего раз; когда я протянул ему руку, он осторожно дотронулся до нее концами пальцев, сжал губы, закрыл глаза, вежливо поклонился, пробыл несколько минут и ушел. Другой раз я встретил его на улице и остановил его; он улыбался и молчал.

-- Ты не поверишь, как мне это больно, -- сказал я ему. -- Помнишь, как мы славно проводили время, гуляли по вечерам или у меня

сидели на широком диване с сигарами! Приходи...

-- Знаете ли, кого нынче называют образованным человеком? -- спросил он.

-- Кого?

-- Вот стихи: Над всем смеяться кто умеет, Кто по-французски говорит, Карманы пухлые имеет, И к тому же сибарит...

-- Прощайте, успехи вас ждут везде! Опять коснулся пальцев и с холодным спокойствием лица ушел в своей длинной шинели. Волей-неволей я должен был оставить его и спешил наполнить пустоту сердца дружбой с Березиным. Мы читали вместе Купера, разговаривали о лианах и бананах, о молодых негрятенках, о том, что какая-нибудь пышная креолка лежит теперь в кисейном платье на пестром диване и обмахивается веером... А нас-то нет там, где мы должны были быть. Не всегда, однако ж, мы были согласны. Он слишком высоко ценил ловкость, смелость и успех; когда прочтет книгу, только и слышишь от него: "А каков молодец! как он ему закатил! как он ее надул!" А я всегда жалел тех, кому не везло. Любезничать с дамами он

считал делом презренным и дружескую выпивку предпочитал самому нежному свиданию, а рассказы о буйных и грубых приключениях любил не меньше Мити. Несмотря на это, я беспрестанно приглашал его к себе и еще чаще прежнего стал ходить к Салаевым, чтоб встречать его. И при нем стыдился слишком долго сидеть с Людмилою. Но в его душе уже зрела ненависть. Не знаю, что заставило его строить против меня ковы: предпочтение ли дам возбудило его зависть, желание ли куда-нибудь направить жажду таинственной, романтической деятельности, которая его пожирала, досада ли за то, что раз я поборол его при всех, а Другой раз выиграл пари о том, кем написан "Цинна": Корнелем или Расином... не знаю...

Вначале он писал ко мне такого рода немецкие записки, по два раза в день: "Душа моей души! Сердце моего сердца! С тех пор, как я тебя узнал, я понял, что мне прежде недоставало друга. О, как я люблю тебя! Одно твое присутствие озаряет все. Приходи, приходи. Какие стихи я тебе прочту!" Я отвечал в том же духе по-французски, потому что по-

немецки хорошо не мог писать:

"Благодарю тебя, мой добрый и милый Евгений. В одинокой и печальной жизни, которую я принужден вести в суровом доме тирана, дружба твоя для меня неоцененна. В 6 часов мы будем вместе. О, не покидай меня! Ты знаешь, у меня только и есть на свете два существа, невыразимо любимые: Людмила и ты". Перед отправкой я раз или два всегда перечитывал свои записки, заботясь о слоге. Какое же мне было видеть после этого, что Березин подучает Митю повторять надо мной свои проказы, называет меня иногда дамским угодником и полушутя заступается за Митю, когда я на того рассержусь.

Людмила смотрит иногда на него пристально и качает головой.

-- Что вы? что с вами? -- говорит он, краснея.

-- Молчите, молчите! -- скажет Людмила. А он покраснеет еще больше и отойдет. Наконец все разразилось. Однажды я пил у Салаевых чай вместе с Юрьевым и другим, весноватым, курносым и уже большим гимназистом. Стол для чаю был уже накрыт, но в зале нико-

го из старших не было, кроме беспечной гувернантки Насти. Я предложил Березину и Мите прыгать из окна в сад (с Юрьевым мы едва поздоровались). Березин насмешливо посмотрел на меня, махнул рукой и сказал:

-- Куда нам, батюшка! Вы люди светские, ловкие; а мы труженики, книгоеды! При последнем слове он дружески обнял Митю и потряс его, как бы возбуждая к отпору.

-- Ну, уж Митя, -- отвечал я, -- совсем не книгоед! Он, скорее, дармоед! Юрьев и другой гимназист захохотали.

-- Если я дармоед, так я удивляюсь, зачем вы к дармоеду ходите? -- возразил Митя. И глаза его заблестали.

-- Я совсем не к вам хожу, -- неосторожно ответил я.

-- Другие тоже не нуждаются, и вы можете прекратить ваши посещения. В это время подошла Настя.

-- Что вы говорите глупости! -- сказала она Мите, -- я скажу вашему папа.

-- Попробуй-ка! -- возразил Митя, показывая ей кулак, -- я всем расскажу про тебя такую штуку... помнишь, во вторник? Я тебя вы-

учу у старика на коленях сидеть! Настя покраснела, глаза ее помутились, и она быстро ушла. Я сел один к чайному столу в волнении и решился спросить у Дольской, следует ли мне обращать внимание на слова наглого ее брата; между тем враги мои беспрестанно входили и уходили, то спускались в сад, то шептались на балконе, и курносый гимназист был с ними. Юрьев тоже ушел из залы, но в их компании его не было видно. За чаем Людмила шепнула мне:

-- Не ходи в сад, умоляю тебя, не ходи.

-- Отчего?

-- Прошу тебя, не ходи. Однако я взял палку и пошел в сад. Едва я успел сделать два шага, как на меня из-за кустов полетели куски земли, Щепки и даже обломки кирпича. Вслед за этим из-за куста выскочил Митя и схватил меня сзади. Я ударил его палкой, но он успел ее вырвать и сломал. Я кинулся на Березина и повалил его; но в эту минуту кто-то накинул мне на голову шинель, уронил меня наземь и изо всех сил ударил меня кулаком по спине. Я в бешенстве старался высвободиться и вдруг услышал грозный голос Юрьева:

-- Прочь, мужик! И раздался громкий удар, за ним другой и третий; я высвободил голову и увидел, что весноватый гимназист

лежит на земле, а Юрьев с презрением толкает его в бок ногою.

-- Своих-то, своих-то, свинья! -- жалобно говорил гимназист. Но Юрьев был бледен и спокоен; он взял меня за руку, привел в пустую залу и, не говоря ни слова, отыскал мою фуражку. Я протянул ему руку с чувством; но он строгими глазами посмотрел на меня, почтительно поклонился и указал на дверь. Я ушел.

Не стану описывать моих чувств, они понятны; но этим не ограничились преследования Березина.

### XIII

Я, разумеется, решил не ходить к Салаевым; но в тот же вечер принесли мне записку от Людмилы. Человек сказал, что ее принес Юрьев, отдал и ушел. Вот что писала Людмила:

"Милый, милый мой Вольдемар! Не обращай внимания на козни этих злых людей. Я не виновата и жду тебя. Я все сказала сестре, и они не осмелятся более вредить тебе. О, ко-

гда я прижму тебя к моей груди! Когда в объ-  
ятях твоих я забуду весь мир, верный мой  
друг! Уже полночь. Свеча моя догорает, но я  
ложусь с упоительной, страстной мечтой о те-  
бе. Прощай! Прилагаю записку от Березина,  
из которой ты увидишь, за что он ненавидит  
тебя. О, если бы я могла тебя прижать к свое-  
му пылающему сердцу!" Я нашел, что записка  
эта очень подходит к тому идеалу, который я  
составил себе для любви; но письмо Березина  
к Людмиле поразило меня и неожиданностью  
и горестью:

"И вы могли полюбить этого пустого, свет-  
ского болтуна! Вы не способны ценить лю-  
бовь глубокой, поэтической природы! Но я от-  
мщу; я неумолим. Характер мой похож на ха-  
рактер Люкреции Борджиа".

Я обождал несколько дней и пошел к Люд-  
миле. С смущенным сердцем взялся я за руч-  
ку двери, отворил ее и спросил у слуги, дома  
ли господи.

-- Дома, только вас не велено принимать. Я  
посмотрел на него с удивлением и вышел.  
Оскорбление не мучило меня: помню, что я с  
спокойною решимостью шел домой, не чув-

ствуя за собой никакой вины; об одном я молил Бога, чтоб не узнал никто о моем стыде, и пуще всего дядя. Июнь был в исходе. Александра Никитишна немного поправилась, ходила по своей комнате и сидела иногда у открытого окна. Чтоб ей легче было сходить в сад, дядя перевел ее в нижний этаж. Прошло не более двух дней после того, как Салаевы отказали мне от дома; я занимался с Ревелье, как вдруг Александра Никитишна прислала за мной.

-- Что это за письмо, -- сказала она, -- я почти ничего не разобрала... Какие-то козни, бульвар! Кто-то подкинул, должно быть, ошибкою сюда; Лена нашла его на окне.

Я взял письмо. Оно было очень нечетко написано; но в изломанном с намерением почерке я узнал руку Березина. Тетка, утомленная и равнодушная ко всему, прилегла на постель и спрятала лицо в подушку, а я подошел к окну и прочел: "Все ваши козни открыты. Все поняли, что вы хотите воспользоваться доверием невинного ребенка-девушки, которая любит вас. Но как вы ни коварны и сколько ни умели вы скрывать ваши иезуит-

ские планы под маской скромности и светского приличия, нашлись люди хитрее и умнее вас. Они вас разгадали, и война будет безжалостна и беспощадна! Не советую вам ходить около 9 часов по бульвару. Вас хотят изувечить. Вы встретите там трех людей: двое будут в синих чуйках, а один в сером пальто".

-- Не говорите дяде, прошу вас, ради Бога! -- воскликнул я, обратясь к тетке.

-- Ступай, ступай, -- сказала она тихим голосом и указала на дверь исхудалою рукой.

Долго ходил я по зале, перечитывая письмо. Который час? Еще 8... Нет! я буду там... Они не посмеют тронуть меня; они знают, что будет им от дяди и от городского начальства! Но я пойду, не осрамлюсь, и пускай лучше буду избит, чем обвинен в трусости. Оружия нет со мной, трость даже сломана и осталась у Салаевых; но я возьму узловатую палку Ревелье, а в боковой карман положу большой циркуль вместо кинжала. Подойди тогда! В глаз, так в глаз, в щоку, так в щоку! В половине девятого я уже был на бульваре. Сначала там не было никого; потом прошли двое рабочих; прошел пожилой офицер с маленькою девочкой;

несколько пролетов проехало мимо, но моих синих чуек не было. До половины десятого ждал я их в торжественном волнении и наконец самодовольный вернулся домой. Но здесь уже ждал меня дядя; он встретил меня в зале, и глаза его были огромны.

-- А! господин искатель приключений! Подите-ка сюда.

-- Что вам угодно?

-- Что? что? Ты думаешь, что я тебя взял для того, чтоб в мой дом подкидывали письма, чтоб имя Ладневых позорилось по городу... чтоб тебя выгоняли? Он сжал кулаки и подступил.

-- На Кавказ! хочешь на Кавказ солдатом? Но и я уже был вне себя, не находя нигде ни опоры, ни отрады. Дрожащим голосом, но с внутренней решимостью я отвечал, что он не опекун мне, и на Кавказ солдатом никто меня не смеет сослать. Дядя поглядел на меня пристально; он вдруг охладел и утих.

-- А! ты думаешь? Ну, хорошо... Он позвал Ефима и велел запереть меня наверху в одной комнате, где, кроме дивана, двух стульев и столика, ничего не было.

-- Посто́й, брат! тебе еще всего 17 лет, -- сказал он. -- Чтоб у него ни книги, ничего не было, ничего! Посидишь ты у меня на пи́ще св. Антония. Отвели меня в мой карцер; в нем я тяжело проспал ночь и провел мучительный день, который тянулся и тянулся без конца. Курить было нечего: кроме воды и хлеба мне ничего не давали.

Стало уже немного смеркаться, вдруг кто-то подкрался, просунул под дверь несколько папирос и шепнул:

-- Барин, а барин, молодой пленник... Я узнал голос Лены.

-- Ах, Лена! -- сказал я, -- спасибо, что хотя ты не забыла меня!

-- Дядя ваш уехал в гости. Не хотите ли погулять?

-- Какое тут гулянье! Мне бы вот как нужно было сходить к одному человеку...

-- Ключ мы сейчас достанем; я знаю, где он лежит...

-- Ах, Лена! спасибо, Лена! А ну как тебе от него будет беда?

-- Вот еще! Он прежде полуночи не вернется. Она убежала и, немного погодя, вернулась

с ключом. Я поцаловал ее от всей души и вышел на улицу. Целый день думал я о побеге в Подлипки, все в голове моей спуталось и притупилось, и только теперь, дохнувши вечерней свежестью, услышав со всех сторон стук и шум, почуяв везде пространство и свободу, овладел я сам собою. Надо было идти к Николаеву, молодому губернаторскому чиновнику, и просить у него денег взаймы; своих же не было ни гроша. Николаев был для меня один из тех людей, которые только проходят по краю душевной жизни; связь между нами была чисто умственная, но, быть может, поэтому-то самому он долго стоял передо мною на безукоризненном пьедестале. Когда я лет четырнадцати начал присматриваться к встречным мужчинам и искать между ними русского джентельмена, долго пестрые жилеты на карточных вечерах у дяди, покррой фраков и дух разговоров не подходили к тому, что я встречал в "Парижских тайнах". Наконец увидел я Николаева и сказал: "Вот он". Не только профиль его был сух и благородно-строг, не только белье его было превосходно, но даже он иногда надевал, подобно Ро-

дольфу, изящный синий фрак с бронзовыми пуговицами. На столе его лежали немецкие и английские книги, и, глядя на них, я смирялся. Чего, казалось, нельзя было ожидать от такого человека? Он нашел философский камень жизни. Как хороши были его бичи, его летние фуражки! как он служил! как его уважал губернатор! как дядя его хвалил всегда при нас с Петрушей! Что за лошадь играла под ним, когда он выезжал в кавалькаде с старшей дочерью губернатора! И с ней он был так прост, беспечен, как будто бы она была такой же человек, как и все. А я не мог ни вести ее под руку, ни ехать с нею рядом верхом без священного ужаса; когда она обращала ко мне свое продолговатое и цветущее лицо, поднимая длинные ресницы томных и темных глаз, я так и ждал чего-то баснословного в будущем... Точно неслыханную невесту доставит она мне, какую-нибудь милую Мери или бледную Тати, точно права мои после двух ее слов уже будут не те, и сам я стану лучше, умнее, и все женщины будут жалеть меня. А он, железный человек, на одной вечерней прогулке за городом уступил ее друго-

му, едет со мной и говорит: "Вы верно слышали, что я женюсь на ней? Это неправда... На двоих у нас будет слишком мало! Я люблю в ней ее простоту". А сам сидит кое-как на седле и, холодно глядя вперед, слабою рукой болезненного кабинетного человека правит вороным конем, так что кирасир бы другой позавидовал! Всякому мужику на поклон он отвечает, снимая фуражку; ни к одной женщине, кроме губернаторской дочери, не подходит; не смотрит, кажется, никуда, а видит все. Он ходит согнувшись, а другой правовед, молодой прокурор, так сводит лопатки назад на ходу, что сюртук у него всегда продольно морщится. Что ж мне-то делать? Вперед или назад гнуть спину? Я делал иногда так, иногда этак, хотя и то и другое мне было не по натуре, и спина моя, как я после узнал, была лучше, чем у обоих образцов. Одно нехорошо в Николаеве -- слишком хвалит бездушную скромность Петруши и ставит его часто в пример. Я застал его дома; он лежал на диване в удивительном халате из черной шерстяной материи, который поразил меня скромной и строгой красотой. Дым гаванских сигар

наполнял комнату, и в белой руке его был Бэкон.

-- Вы читали Бэкона? -- спросил он.

-- Нет... где ж! -- не читал...

-- Читайте его. Андрюша! -- прибавил он тихим голосом. Вбежал грум.

-- Я хочу одеваться.

Грум стал готовить, а я решился приступить к делу.

-- Арсений Николаевич, -- сказал я содрогаюсь, -- я к вам с просьбой...

-- Очень приятно.

-- Уж не знаю, как вам сказать... Николаев не отвечал, сел к своему серебряному зеркалу и начал пробирать пробор.

-- Галстух! -- сказал он чуть слышно Андрюше. Андрюша достал целую кучу шейных платков и подал ему один. Николаев помотал головой. Андрюша подал другой -- опять то же.

-- Не знаю, право, как уж мне вам сказать...

-- Не хотите ли сигар? -- спросил он холодно, -- это трубукос.

-- Мне нужны деньги...

-- Что же галстух? Наконец Андрюша на-

шел тот галстух, который ему был нужен. Тогда он встал и сказал:

-- Андрюша, я хочу ходить... Держи сзади халат, чтоб он не свалился с плеч. Грудь слаба -- надо ходить... На что же вам деньги? Ваш дядюшка, вероятно, доставляет вам все необходимое.

-- Я не могу просить у дяди денег.

-- Верно на шашни! Напрасно, напрасно это! И почтенный дядюшка ваш недоволен вами.

Время шло; надо было спешить.

-- Вышлите Андрюшу, -- сказал я. Андрюша вышел.

-- Вы не скажете дяде?.. Прошу вас; если вы мне не поможете, я пропал. Николаев остановился передо мной и взглянул на потолок.

-- Накутили? -- спросил он. -- Я уже слышал, что вы все на мирносицкую площадку ходите. Напрасно, напрасно: там вас добру не научат.

-- Вот вы все наставления читаете... А надо помочь... Я уж вам все скажу... И я рассказал ему все, не убавляя и не прибавляя ни слова; объявил также, что намерен бежать.

-- Вот видите, -- заметил он, -- что значит разврат нравов!

-- Какой разврат! что это? Мы любили друг друга, как Paul et Virginie. Вот то-то и беда, если б вы меньше читали Кювье... Кювье, кажется, это написал?

-- Ну, вот вы притворяетесь, будто не знаете! Какой Кювье! Это Бернарден де-Сен-Пьерр.

-- Да. Вот если бы вы меньше читали этого Кювье, так не наделали бы столько беспокойства почтеннейшему вашему дядюшке.

-- Мне очень нужно думать о его беспокойстве! Гнусный деспот!

-- Будьте уклончивее, будьте уклончивее! Посмотрите на меня: я уклончив, и о нравственности моей никто дурно не скажет.

-- Полноте, Арсений Николаевич! Вы нарочно взяли на себя эту роль. Я бы вам сказал, как я об вас думаю...

-- Скажите; мне очень приятно (лицо его не изменилось ничуть).

-- Имя ваше негромко, а вы и в Петербурге и здесь живете с знатными людьми. Чтоб отличить себя от других, вы и взяли на себя

роль уклончивого оригинала и все этакое... А так как у вас много энергии...

-- Да, энергии, это правда, у меня много. Вы правду сказали. Я встал.

-- Так вы не дадите мне денег?

-- Не могу, никак не могу входить в такое дело. Я не могу идти против вашего дядюшки, которого очень уважаю.

Я протянул ему руку; он, дружески улыбаясь, пожал ее и заботливо прибавил:

-- Петру Николаевичу передайте мое почтение и тетушке, пожалуйста. Заходите почаще...

-- Как же заходить! Я уеду, убегу от дяди непременно.

-- Напрасно! -- продолжал он вежливо, провожая меня в прихожую. -- Вы себя этим запутываете.

-- Только прошу вас, не говорите дяде.

-- Я никогда ничего не говорю. Только жаль, что этого Кювье так много читали. До свиданья... Заходите; мне очень приятно... Андриуша, сюртук мне тот, знаешь, и тильбюри!

Вот я опять на улице. Ничего не сладил и еще ухудшил свое положение. Кто его знает --

вздумает и скажет дяде... Боже мой! Боже! научи меня! надоумь меня, к кому обратиться! Где найти опору? Тетушка, милая тетушка Марья Николаевна, где ты? У тебя легко жить, и никто там меня не обидит. Когда бы она знала, что ее Володя так грустит, так измучен... А в Подлипках теперь уж скоро ужинать сядут; окна отворены, в саду все благоухает, свежеет, шелестит замирая и темнеет... Что ж Делать? Тут блеснула мысль обратиться к Юрьеву. Сегодня суббота: он, может быть, у всенощной, и мы поговорим свободно.

Юрьева я скоро нашел за колонной и, взяв его за локоть, прошептал: "Выйдем, ради Бога, поскорей! Со мной такие дела делаются, что это ужас; одна моя надежда на тебя". Он пошел за мной на церковный дворик и выслушал мой рассказ, смеясь и приговаривая изредка: "Каково! каково! Ну-ка! ну-ка!"

-- Что ж? деньги нужны? -- спросил он.

-- Да. Мне очень совестно...

-- Есть у меня пятнадцать рублей серебром да еще два двугривенных. Поезжай поэкономнее, так доедешь.

Он достал из бокового кармана старый го-

лубой бисерный кошелек, которого вид меня глубоко тронул, и отсчитал деньги; оставил у себя рубль да на задаток ямщику еще взял рубль и сказал, что завтра к вечеру все будет готово. "Только смотри, не ударь в грязь лицом -- не раздумай!" -- прибавил он. На другой день я утром выпросил у дяди прощенья, и меня выпустили; а в сумерки я сунул из окна Юрьеву свой чемоданчик; Юрьев положил его на извозчика и уехал. Вслед за ним и я вышел в шинели на заднее крыльцо. Ефим увидел меня на дворе и ласково спросил:

-- Куда вы это в такую теплынь в шинельке собрались?

-- Сыро вечером, -- отвечал я, почти бегом уходя к воротам, бросился на дрожки -- и за Юрьевым.

Юрьев обделал все: дешево нанял долгих до нашего губернского города, условился, чтобы первые 60 верст ехать проселком (я все боялся погони и розысков). Нашлись и попутчики: хохлатый немец-аптекарь на всю дорогу и старая мещанка с сыном до первого уездного города. Все было готово; я протянул руки к моему избавителю.

-- Прощай, прощай! Благодарю тебя, Андрюша! Я не забуду того... Я буду богат, и тогда приходи прямо ко мне за всем.

Юрьев прижал меня крепко, и слезы навернулись на его глазах.

-- А ведь больно с этакой дрянью расставаться! -- прошептал он. Ехали мы проселком долго, рысцой и шагом; на станциях мужичок кормил; мы с немцем раскрыли свои чемоданы, показывали друг другу жилеты, шарфы, фраки, рассказывали друг другу анекдоты, пили молоко -- я с черным, а он с белым хлебом и сахаром, доказывали мещанке, что все христиане -- христиане; она слушала, поводила глазами, кивала головой или отвечала: "так-с"... А я гремел против нетерпимости!

Денег бы достало до Подлипок, если б я был благоразумен. Но вот выехали на большой тракт; народу стало попадаться больше; часто нас обгоняли лихие тройки; попало и два-три большие экипажа. Выглядывая из своей колымаги, я мучился завистью и стыдом. Мне казалось, что проезжие смотрят с сожалением и презрением на меня. Оставалось еще 60 верст до нашего губернского города...

Нет, это невозможно; нет сил...

Приезжаем на станцию к ночи.

-- Есть здесь вольные ямщики с тарантасами? Живо! Аптекарь уговаривал меня остаться; но с нами увязался, взамен старухи, из последнего города молодой лавочник; он взялся обработать все дело повыгоднее и поскорее, если я соглашусь довести его. Дело слажено; но толстый хозяин приходит и спрашивает:

-- А вы, баринушка, с стариком своим до губернии расплатились? Так полагается... Эх, досада! останется всего два рубля, если отдать ему. Старик спит в другой избе, и мещанин выводит меня на крыльцо. Месяц светит; ночь свежа. Тарантас с лихой тройкой уж выехал из-под навеса.

-- Садитесь, -- шепчет мещанин. -- Старый чорт дрыхнет.

-- Не могу. Это вздор! -- отвечал я и пошел в другую избу. Я не знаю, какое дать имя моему чувству. Это была не простая ясная твердость: это была дрожащая, стыдливая, но непреклонная решимость. Я не знал, с чем я доеду до Подлипок, если отдам, но принес и отдал

три рубля старику, которого ямщики давно уже разбудили.

Сели; ворота стали отворять; вдруг выскочил мужик наш и загородил дорогу.

-- Стой! стой! -- кричал он мещанину, -- мошенник, за тобой полтора рубля...

-- Пошел! -- кричал мещанин. Тарантас не трогался; собрались ямщики.

-- Хам ты! собака!.. -- говорил старик, -- вот барин честный, смотри.

-- Пошел! Врешь ты: я тебе все отдал...

-- Выходи вон! -- сказал я мещанину, -- ямщик, трогай... выходи... Мошенник вылез; мы тронулись, но едва только успели отъехать немного рысью от двора, как раздался топот и слова: "Стой! стой! Барин! барин!" Мещанин догнал нас, вскочил на подножку и закричал: "Пошел!" Опять топот и опять крик: "Стой! стой! Полтинник... Стой!.."

Я принудил наконец своего спутника расчесться решительно, грозя выгнать его из тарантаса.

Одно дело кончено: поступлено честно; еду шибко, и встречные смотрят не с сожалением, а с завистью и почтением на меня. Как те-

перь добраться без беды до Подлипок? Ну! Бог поможет!.. Утром мы были уже в городе, и на постоялом дворе я узнал, что вице-губернатором здесь человек, давно знакомый с тетушкой. Что долго думать! Надел коричневый фрак *a la Napoleon*, галстук голубой с золотыми полосками, белый жилет и брюки дикие с широкими клетками; волосы *a la polka* -- и готов.

-- Ладнев, племянник Марьи Николаевны Солнцевой. Вице-губернатор, полный, курчавый, добродушно-насмешливый человек со стеклышком в глазу. Он лорнирует меня снисходительно, жмет руку и ведет к жене. Та еще добрее, еще приветливее. Оставшись с нею наедине, я прошу ее войти в мое положение, рассказываю ей с волнением, что я бежал от дяди, говорю о тетушке и Подлипках.

-- *Calmez vous, calmez vous, mon enfant!* -- говорит милая женщина и подает мне худую душистую руку, покрытую перстнями; я подношу ее к губам. И я так понравился добрым супругам, что они не только снабдили меня деньгами, но даже на свой счет повезли вечером с собою в воксал. Там я танцевал со всеми

лучшими дамами и девицами, был скромнен, любезен, не острил, не ломался; словом, до ужина вел себя отлично, но только до ужина! Ужинали мы в особой комнате. Вице-губернатор, жена его, я, пожилой путейский полковник-немец, предводитель, белый, высокий, толстый мужчина с синим шарфом и брильянтовой булавкой; молодой белокурый адъютант и худощавый, длинный доктор, который сидел против меня, все время качался на стуле и, катая шарики, сардонически смотрел на меня. С самого начала ужина сосед мой, предводитель, начал подливать в мой стакан замороженное шампанское, и я скоро завладел вниманием общества. Хвалили одну девушку, из бывших в воксале; говорили, что у нее еврейско-библейский тип красоты.

-- Да! -- заметил я, отхлебывая понемногу шампанское, -- я в этом роде воображал Иродиаду в "Juif errant".

-- В чем? в чем? -- спросил вице-губернатор, наводя на меня глаз со стеклышком. -В "Juif errant"... Каков! Вы знаете, господа, он убежал ведь от дяди. Расскажи пожалуйста, как это было...

Я поставил стакан и, откинувшись на спинку стула, начал:

-- Да, я бежал. Но прежде всего надо сказать, что за человек мой дядя. Это тиран. К другим он очень строг -- к себе не слишком... Все захохотали. Я продолжал рассказ.

-- Да это сокровище! -- воскликнул, прерывая меня, адъютант. -- Нельзя ли что-нибудь из скандальной хроники того города?

-- Зачем развращать мальчика! -- заметила вице-губернаторша, -- ободрять его на глупости?..

-- Ему и ободрений не надо, -- возразил муж. Доктор, который до той минуты молчал, ударил по столу кулаком и сказал:

-- Нет, видно, дядя его тиран плохой! Плохо он его в руках держал! Я бы его не так...

Он опять сжал кулак и стиснул зубы.

-- Надо же оставлять молодым людям немного поэзии, -- мягко и склонив голову набок, возразил путейский полковник.

-- Да помилуйте, господа! Это какой-то нравственный урод! -- закричал доктор.

-- Ну, вот! Вы, Яков Иваныч, всегда trouble fete, -- сказал вице-губернатор; -рассказывай,

рассказывай что-нибудь про тамошнее общество. Несмотря, однако, на то, что в голове моей сильно шумело, мне показалось, что жолтый доктор прав: я смутился, решительно отказался рассказывать -- и меня за-' были.

После ужина я в углу простился с вице-губернатором и его милой женой, получил от них деньги и, проспав до полудня, выехал под вечер из города очень грустный. Погода испортилась; шел частый, мелкий дождь; мне было стыдно, и после этого случая я стал лучше понимать, и в чтении и в словах других людей, что значит чувство собственного достоинства и что такое благородная скромность. Однако и до родины недалеко. Вот уже и большое торговое село миновали, переехали речку; вот горка, с которой сейчас я увижу то, чего не видал шесть лет. Вот оно! вот они -- мои милые, несравненные мои, мои Подлипки. Раскаяние, дядя, Людмила, строгий доктор, Березин все мне нипочем; теперь я вскакиваю на облучок.

-- Еще полтинник тебе на водку, пошел скорее! пошел, ради Бога! Господи! как все мне здесь знакомо... Вот луг налево и три бе-

резки; как они выросли с тех пор! Здесь мы с мадам

Бонне встретили страшную, рыжую, быть может, бешеную собаку, и добрая старушка сказала: "Беги, беги, Володя!" Мне было тогда 6 лет всего! Но собака не обратила на нас внимания.

Вот дорога расходится надвое около небольшого кур-ганчика; вот ракиты, избы, пруд, сам рыжий Егор Иваныч с тачкой; зеленый двор еще зеленее от дождя. Ямщик несется во весь опор... Я могу сказать: вот что я видел, вот кого я встретил, могу даже вспомнить некоторые слова; но то, что я чувствовал, изобразить я не в силах.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ I

Тетушка обещала не отправлять меня к дяде, обещала написать ему как можно скорее письмо, и я заснул крепко; но было еще очень рано, когда я проснулся в приятной тревоге. Первым делом было обегать, осмотреть все знакомые углы. Много переменялось в Подлипках и к худшему, и к лучшему. И в саду, и в доме, и на дворе, и в людях, и во мне самом было много перемен. Сад стал гораздо гуще;

маленькие елки на куртинах прежде чуть были видны от земли, а теперь они гораздо выше меня; пруд со стороны двора заслонился целым рядом серебристых тополей... Дом осел; все комнаты мне казались малы, окна кривы и обои сморщены и стары. Великолепная угольная комната была уже не пунцовая, а зеленая; узоры на обоях новые, без жизни и значения в моих глазах. Аленушки нет на свете; мадам Бонне умерла; Паши Потапыч нет в Подлипках -- она замужем за крестьянином в другой деревне; Верочка давно уехала с мужем; Катюша созрела; Клаша давно невеста; Ольга Ивановна здесь; ее племянница, Даша, тоже у нас. Анбар снесли; два новые сруба за людской. Только и остались по-старому: раздранный пополам дуб над вершиной, величавые вяза, купающие нижние ветви в пруду. Егор Иваныч все рыжий с сизым носом и дровами, да сама тетушка, в большом чепце, то на кресле у окна спальни, то на кресле у окна в угольной, то на кресле у окна в зале. Недели через три пришел ответ от Петра Николаевича: он писал, что видеть меня у себя более не может и "даже рад, что судьба избавила его от

такого негодяя и пустоголового малого... Теперь мне не до него. Жена приговорена докторами, и жить ей осталось не более

недели... Представь себе, Маша, что я должен чувствовать?.." С того дня дядя уже не имел влияния на мою жизнь; Александра Никитишна умерла, и сам он прожил после нее недолго. Изредка получали мы от него письма; под конец своей жизни он простил мне и вспоминал иногда обо мне в своих приписках. Скоро стал я всматриваться в наших девиц. К Дарье Владимировне уже я чувствовал некоторое недоброжелательство за то, что она племянница Ольги Ивановны. Эта тридцатилетняя брюнетка с мелкими и правильными чертами лица, томными глазами, величественною походкой и тяжелым разговором не нравилась мне еще во время своего приезда с тетушкой к Петру Николаевичу. Здесь же она казалась мне совершенно не на своем месте. Во-первых, она беспрестанно говорила о нравственности, о религиозных обязанностях, о порядке мертвым и сухим языком; говорила целые тирады из Расина, а я тогда, признавая его гением на словах, не

мог дочесть до конца ни "Федры", ни "Гофоллии". Вместо "Айвенго", Ольга Ивановна говорила "Иван-гое"; возьмет Делиля, подтянет подбородок, поднимет руку и глухо начнет: "Oh! comme en voyageant dans le vaste empyree l'imagination parle a l'ame inspiree!" Иногда, прохаживаясь вместе с Дашей по комнатам, вдруг скажет громко какую-нибудь фамилию: Roger de Rabutin, comte de Bussy. Всем она распорядилась в доме и саду; с томною гордостью и молча смотрела на слуг и горничных, если пыль где-нибудь не была стерта; на садовника, если он не там посадил георгины, где она велела, не доделал, переделал... Медленно и систематически деятельная, точно нерусская, носилась она в черных, синих и коричневых платьях и с локонами везде, где ее не спрашивали... и даже (о Боже!) однажды, вошедши случайно в девичью, я увидел, что она дала громкую пощочину Катюше, которой было тогда уже семнадцать лет и которая тотчас же заплакала. Но ничто так не отвратило меня от нее, как ее поступок с Пашей Потапыч. У нас был один беглец, Ефим; без меня он вернулся и просил прощения. Ефим был

бледен, худ, одна рука была переломлена и плохо залечена. Тетушка сделала его лесником в той самой роще, в которой Палемон воспитывал Бенедикта и Леона и дрался на шпагах. Он скоро сблизился с Пашей. Рябины, худощавость и черная борода не мешали ему нравиться, а Паша была чувствительна. Я помню, как она задумчиво вздыхала, когда я читал ей из "Живописного Карамзина" о борьбе Мстислава с Редедей: "Если ты меня победишь, возьми жену, детей и всю землю мою", -- говорил бедный великан. Я грустил в душе, а Паша, громко вздыхая и качая головой, повторяла за мной: "Возьми жену и детей!" Иногда она пела про девушку, которую на охоте встретил барин и взял за себя, и всякий раз плакала. В Петербурге, когда мы с тетушкой ездили к брату, она водила меня в Летний сад, в церковь, смотрела со мной вместе по вечерам в окна на Невском; на свой собственный бедный пяточок покупала мне яблок или пряников на лотках. Ее молодое, курносое и доброе лицо не выходило у меня из памяти. Едва ли бы у тетушки достало духу так строго наказывать ее, если б не Ольга Ивановна. Узнав-

ши, что Паша в тягости, она с негодованием прибежала к тетушке и сказала ей, что надо примерно наказать такую бесстыдницу, которая забыла, что в доме есть молодые барышни, забыла всю доброту Ольги Ивановны, два ситцевые платья, которые она давала ей в год, и даже старый мериносовый салоп! Паша осмелилась отвечать, что служит она не ей, а Марье Николаевне.

Я воображаю, что говорила Ольга Ивановна о разврате в доме и о слабости тетушки! И вот, Пашу отдали за мужика, который недавно овдовел, а Ефима сослали в арестантскую роту. Ольга Ивановна хотела даже настоять, чтоб Паша носила не кичку, а сборник: пусть все видят, что она наказана; но тетушка не согласилась на это и, говорят, даже заплакала, услышав из спальни рыдания Паши. Каково же мне было слышать все это! Еще долго строгие и дельные характеры будут у нас неприятны, неуважительны; а тогда-то каково было смотреть на все подобное и чуют неопытным умом, что одно спасение в снисходительной распущенности, даже в слабости!

Дарья Владиміровна была приятнее тетки.

Она, бесспорно, была красива собой: высокая, гибкая, черноволосая, с римским носом и живыми карими глазами, во мнении многих она могла слыть за красавицу; но я ненавидел тогда все монументальное, высокое и величавое и любил только доброе, свежее и простое. А она проста не была. Походка ее была еще величественнее теткиной, потому что при росте ее и стройном стане ей было сподручнее и больше к лицу так ходить; но Клаша скоро сообщила мне тайком, что это вовсе не ее манера, а что она провела последнюю зиму в Петербурге у одной графини, которая так ходит и говорит даже всегда протяжно и слабым голосом, как Даша теперь, но что у Даши это скоро пройдет. Дарья Владиміровна была гораздо образованнее Клаши; воспитывалась она в очень светском доме; по-французски говорила изящно, хотя иногда слишком игриво и изысканно для русской; знала немецкий язык и немного английский; читала множество романов; танцевала как сильфида, склоняясь слегка к кавалеру; могучим контральто исполняла самые знаменитые итальянские арии. Цыганские романсы пела она по-цыган-

ски, с теми же движениями, с теми же неправильностями выговора: вместо силы употребляла всегда раздражительность; не скажет просто: мы две цыганки чернобровый, а всегда черрррнобрррровыя. Клаша Удивлялась и завидовала ей.

-- Посмотри, -- говорила она мне, -- какие у нее прекрасные руки.

-- Что ж тут хорошего! Длинные, предлин-ные пальцы, большая, белая, мягкая рука... как мертвая! Твоя лучше, -- отвечал я, поднося маленькую, сухую руку Клаши к своим губам.

-- Как же! -- возражала Клаша со злобой в глазах, -- где нам с ней равняться! Она петербургская, а мы здешние. Она красавица, а я что?

-- Красавица! -- возражал я. -- Терпеть не могу таких наглых глаз. Прыгают, прыгают, и руками жесты, и что за позы!

До поз Дарья Владим1ровна была большая охотница. Раскинется на диване, ноги подберет под себя или выставит слегка носок красивой ботинки, рука висит где-нибудь, а голова назад. Тетушка была не совсем довольна этой манерой и, заставая ее неожиданно в та-

ком положении, любила сравнивать ее с Клашей.

-- Я бы вас обеих в одной ступе столкла: тогда бы из вас, может быть, что-нибудь путное вышло. Ну, посмотрите: одна всегда толкачом сидит, как деревянная, а другая целый день кость-костью по софам валяется. Клаша была совсем иного рода. В те года чувственное избирательное сродство было сильнее всего, а прежняя вялая, бледная и полная девочка сделалась к этому времени тоже довольно полной и довольно медленной, но цветущей блондинкой. Глаза ее были бездушны; но над ними чернелись брови такие тонкие, ровные, точно нарисованные, и белый лоб был без малейшей морщины. Двигалась она робко, часто озиралась при чужих, боялась хоть на минуту подняться над самыми вседневными разговорами, считала себя неуклюжим существом, приходила в отчаяние от полноты своего стана, вальсировала тяжело, стораая от робости и самолюбия. При чужих и в гостях я не любил ее; но я любил ее дома, в простом холстинковом платье, с нашей домашней речью, в роще за грибами, в саду на клубнике, в моей

комнате на диване. Тут мы беседовали, шутили, смеялись без конца. Она, точно так же, как и я, любила Подлипки, знала до совершенства каждый закоулок, понимала меня, когда я говорил, что в Подлипках и умирать должно быть легче, что здесь самая трава имеет больше смысла, чем в других местах; знала по имени каждого крестьянина, каждого ребенка в деревне; знала, кто злой и бьет жену, кто добр и не бьет, или бьет мало; любила ходить на свадьбы осенью и зимой, сидела там в почетном углу, и ее величали в песнях. С одного взгляда понимали мы друг друга; тетушка кашляет от радости или гордости, когда я войду, Ольга Ивановна сделает тонкое или благородное лицо -- мы переглянемся только, и знаем каждый, о чем думает другой.

По возвращении моем от дяди, мы недолго церемонились с нею; через неделю стали на ты, играли в фофаны, дураки, зеваки, пьяницы, даже в носки. Я гонялся за ней по комнатам, ловил, бил картами по носу, а Дарья Владимировна сказала мне, когда я хотел с ней сделать то же: "Нет-с! Уж меня оставьте. Une

fois pour toutes je vous prie d'etre poli. Я не охотница до грубых манер. Я к ним не при-выкла". От Клаши узнал я все, что случилось без меня в Подлипках: узнал, как умирали мадам Бонне и Аленушка, как Степан женился на Наталье, как Наталья испугалась, что барыня будет гневаться, и убежала из Подлипок, как ее вернули, какой платок был у нее на голове в день свадьбы, какой сюртук на Степане -- все, одним словом, все в самых живых и забавных чертах. И доброты я в ней видел много самой утонченной. Еще прежде, в один из своих приездов к дяде, тетушка Марья Николаевна жаловалась, что Клаша сбирала всех закинутых, больных и некрасивых щенят, вырастила полон двор Жучек, Арапок, Крикс, Розок, кормила их сама в корыте у крыльца и целовала их всех в морды. Наконец принуждены были половину раздать, а половину перебить.

-- Вздумала даже трехногого котенка воспитывать! Я его велела утопить. Такая гадость! -- говорила тетушка.

Я был возмущен и, вспомнив об этом в Подлипках, спросил у Клаши, жалела ли она

его.

-- Еще бы! -- отвечала очаровательная Клаша, -- я Ужасно плакала... Терпеть не могу этой злости. Как не хотят понять, что именно вот его-то и надо было взять, потому что у него только три ноги и его никто не любит... Потом она вздохнула и прибавила: "Да! сиротам и Некрасивым всегда плохо!" П

Если б я мог всегда жалеть -- жалеть не всех, не многих, а хотя бы одну и ту же!

-- Что это вы, когда оденетесь, Даша, ходите как Настасья Егоровна Ржевская... голову назад? -- говорит Клаша.

Даша вспыхивает, и дело доходит до Ольги Ивановны.

-- Что это, mesdames, вы опять грызетесь?

-- Клавдия Семеновна не дает проходу с своими глупыми замечаниями.

-- Видно они не так глупы, -- возражает Клаша, -- когда вы обиделись.

-- Молчите! у вас язык, как у змеи!

-- Вы не можете запретить мне говорить... Я одобряю Клашу взглядом. Ольга Ивановна обращается к племяннице:

-- Я удивляюсь тебе. При твоём уме, при

твоим серьезном воспитании, ты можешь доводить себя до этого! Это непростительная слабость. Ты должна презирать этот вздор и не забывать тон того общества, к которому ты привыкла с детства. Дарья Владиміровна совсем забыла этот тон. Она даже кричит теперь, когда сердится, а в сентябре она говорила таким певучим и нежным голосом... Дарья Владиміровна уничтожает полувзглядом; она продолжает гордо ходить по зале, и шелковое платье ее шумит. Клаша, лукаво улыбаясь, толкачиком сидит у окна; я рад, что наш деревенский принцип победил; но входит тетушка, и дело принимает новый оборот.

-- Ты, мать моя, опять куралесишь? -- говорит она Клаше. -- Другая бы на твоём месте старалась лучше позаняться чем-нибудь хорошим от людей, которые больше свету видели... а ты только причудничаешь да жалишь всех. Не забудь, что ты сирота!

Клаша убегает в угольную; тетушка, которая была тогда ещё бодрa, следует за ней и флегматически точит её ещё с

полчаса. Кончается тем, что Клаша, рыдая и заткнув себе уши, начинает биться головой

об стену. Тетушка в испуге уходит, а я обнимаю сироту и утешаю ее ласками, словами, насмешками над нашими противниками. Она смеется, пьет воду, которую я ей подаю, припадает ко мне на грудь и потихоньку продолжает рыдать. Потом утихает вовсе, улыбается, и мы цалуемся. Какой свежий поцалуй! Как не заступиться!

Опять целый ряд живых, но бессвязных картин... В часы страстного уединения я любил воображать себе страну, где девушки просты и уступчивы, а мужчины невинны и молоды, как я. Не шутя забывался я иногда над мечтой о прелестном крае. Вот жертвенник; солнце заходит; пальмы и хлебные деревья осеняют чистые, прохладные хижины. Кругом океан; несколько простых земледельческих орудий... Десять молодых девушек в венках из листьев и цветов выходят из хижин и танцуют около алтаря. Никакие лишние украшения не скрывают их едва созревшего стана, простое ожерелье из береговых раковин на шеях и полосатая одежда около бедер... В числе их Клаша, Людмила и две губернаторские дочери, с которыми я когда-то тан-

цовал. А мы, их верные и преданные супруги, идем с охоты домой. И на нас нет ничего лишнего. Мы молоды, красивы и сильны. Здесь нет безвкусыя, нет идеалов, бледности, страданий, злобы, холодного разврата обыкновенных мужчин; нет Ольги Ивановны; но есть книги и музыка, и выбор здесь основан на наивном влечении. Хотя и жалко мне было Дарьи Владимировны (все же она в Подлипках живет!), но я не мог ее допустить на этот остров, а бедного Юрьева допустил за голубой бисерный кошелек, сделанный, быть может, какой-нибудь непривлекательной, но любящей родственницей. Но мадрепоровые скалы, на которых должна расцвести такая жизнь, еще не готовы; а страдания не ждут!

Не только пальм я не могу видеть, но не вижу давно груш и яблонь наших на близкой куртине, не слышу, как шелестит наш серебристый тополь под моим окном... Вот уже неделя, как я не встаю... Бесконечные дни, душные ночи, жар, жажда... боль!.. С какой страстной благодарностью обращаю я взгляды на дружескую руку, которая подает мне пить, поправляет подушки, освежает пылаю-

щую голову!

-- Подержите мне голову, -- говорю я сквозь сон, -- у вас такая белая, прекрасная рука... Мне легче так!..

Тетушка растерялась, и ходить за больными она не умеет; Клаша все говорит: "Пройдет! Это он так только!" Она ведь, как я, не верит величественному, не любит трагедии, улыбается при виде хлопот, деятельного добра, которое редко обходится без неловкого напряжения... Но кто же это ухаживает за мной с педантическим рвением, кто ловит взгляды мои, кто сносит мои причуды? чей правильный профиль вижу я ночью при свете лампы на креслах в углу? Взгляну, занет душа смутной благодарностью, и опять ночь и беспомытность... Долго не смыкала надо мной глаз Ольга Ивановна; только в последние дни сменяла ее племянница, и она не пренебрегала мною, холодные голые ноги мои грела в своих руках... Мучения мои невыносимы... Приходит священник... Я плачу и верю и не верю, что буду жив... Как, мне, мне умереть? Нет, это невозможно! Для чего же я жил?... Я плачу и говорю старику, который

вздыхает, наклоняясь к моему изголовью: "Клянусь, ей-Богу, я зла никому не желал. Ах, помолитесь, помолитесь за меня! Я развратен и очень грешен... Боже! прости мне... Я ведь никому зла не желал..."

Тогда и Клаша входит робко.

-- Что? как ему? Даша, дайте я посижу, а вы отдохните...

-- Нет, нет, Даша, -- говорю я, -- не надо мне ее, не надо никого, кроме вас... Скажите ей, чтоб она ушла...

Однако время бежит своим чередом, и я уже на ногах, понемножку выхожу в сад, осмелился и в поля, но так ослабел, что встречный мужик подвез меня на телеге. А там, глядишь, уж я и на лошади... Цвету опять, смотрю, как едет впереди Даша верхом и около нее молодой белокурый поляк с эспаньолкой, с нею ему веселее, чем с Клашей: Даша умеет говорить, Даша поет не одни пустые романсы, Даша молодецки ездит верхом, с Дашей он мог бы гордо гулять под руку по улицам... Бедная Клаша едет сзади в коляске с старухой. Легким галопом я догоняю ездоков и прислушиваюсь.

-- Чувство, -- говорит он, играя концом мундштука и опуская глаза, -- чувство может быть развито или приостановлено, как все другое, если хотите...

-- Если хотите? -- спрашивает Даша, оборачивается к нему и, гордо подняв голову, бросает на него насмешливый и томный взгляд.

-- Конечно, -- отвечает он, немного наклоняясь к ней: -- о! конечно! все зависит от женщин... Qui est tu Leli? Ange ou demon? Вот в чем вопрос! Еще гордый, но не гневный взгляд; удар хлыстом, и она понеслась. Мы за нею. Бедная, бедная Клаша!

Я решился спросить у поляка откровенно, как он находит мою фаворитку.

-- Она мне не родственница, и мне, право, все равно, -- прибавил я.

-- Что же... Если хотите, откровенно... Белый хлеб! Поляк может нравиться. Он строен и худ, был разжалован за что-то и носил солдатскую шинель; он читал Занда и Бальзака. Глядя на него, я думаю о чем-то лихом и свободном. Косцюшко, Хлопицкий, Баторий пособили бы ему, если б он даже был и не строен, и не худощав, и не говорил бы ни слова из

"Лелии". Но что сказать о нашем уездном судье? Видали ли вы подло-красивых Деньщиков с сережкой в ушах и с нафабранными усами, небольших ростом? Вот вам судья. На дворе зима, ночь и мороз; уездный городок наш справляет Святки. Народ гуляет и поет на улицах; в светлых окнах мелькают тени; У предводителя маскарад. Тогда чувств не было никаких, кроме снисходительности, веселости и тщеславия; я не удивлялся ничему, но зарубил себе кое-что на память. Особенно то, что судья был одет в длинную черную мантию и на шляпе его колебались три огромные страусовые пера, и еще то, что дама его, испанка, в черном вуале, была гораздо выше его. Она сидела задумчиво в углу целый час, а он, сняв маску, долго говорил с нею. Вечер пролетел; исчез огромный секретарь, одетый султаном, и его худая султанша, исправница; исчезли все тирольцы, кучера, цыганки и путеводительницы нашего польского день и ночь -- одна в белой кисее с золотыми блестками, другая в черной кисее с золотыми звездами... Пришла и настоящая ночь. День наступил пасмурный и снежный. В Подлипках как-

то лучше! Мне хорошо, и Клаша улыбается. Забравшись наверх, играем мы с нею в носки, и хохочем, и возимся... В минуту отдыха и молчания мы слышим громкий разговор внизу... Идем к лестнице; Ольга Ивановна сердится. Она ходит по зале, заложив руки за спину; тетушки нет, а Даша стоит, опершись на экран, у камина, и лицо ее обезображено рыданиями.

-- Стыдитесь, стыдитесь! -- говорит Ольга Ивановна, -- какая-нибудь секретарша смеет говорить про вас, смеет делать мне намеки. И что вы нашли в этом судье? Жалкое вы существо!..

Даша, все еще рыдая, всходит на лестницу, и мы с Клашей молча даем ей дорогу... Бедная красавица!

Годам к восемнадцати я успел, однако, составить себе план будущей жизни, и многое казалось в нем правдоподобным. Все прежнее мне не нравилось, представлялось чем-то суетным и беспорядочным. Я краснел, вспоминая о любезностях своих с дамами, о польках, об аплодисментах, о Фигаро и Розине; находил, что злобное презрение Березина и добро-

душное пренебрежение Юрьева были основательны, и идеал мой стал ясен, хотя и не слишком прост. Стать добросовестным чиновником вроде Николаева (его сделали, я слышал, камер-юнкером), входить куда-нибудь не шаркая, но серьезно и немного увальчиво, в виде молодого англичанина, скрывающего под суровой оболочкой пламенное сердце... Пусть будущий юноша вступает ко мне в комнату с таким же благоговением к незнакомому Бэкону или Юму, с каким входил я когда-то к Николаеву. Судил я почти всех молодых людей строго.

— Помилуйте! Он ничего не знает, ничего не наблюдает, ничего не делает. У него нет никакой теории. Что это за человек!

Я давал себе слово не следовать примеру брата Николая, который, как я слышал, готов волочиться за всякой и недавно писал к нам из Петербурга, что он два раза сидел под арестом за какие-то шалости в немецком клубе. Я буду не таков; для чего это молодечество, этот глупый романтизм? Надо быть положительным человеком. Пусть говорит обо мне и начальник, и товарищ с теми надеждами и

тем уважением, с каким говорят о Николаеве. Я также тверд и пренебрегаю женщинами; но он болезнен, а я здоров, крепок, я невинен как Поль и буду после умеренно разгулен и добр, как Rogers-Bontemps. Умна и счастлива та девушка, которая проживет вместе со мною (камер-юнкером, читающим английских мыслителей) этот переход от первого к последнему. Я трудился, учился, читал и думал, что открыл еще никому не известный путь к счастью.

Веселая доброта, комфорт, постоянный труд и постоянное наслаждение без вреда другим -- вот мои девизы... что-то вроде Беранже; но думать об этом духе, высокой стороне французского характера, выработанном из животворного единения христианства, чувственной философии и гражданского равенства, не значило, к несчастью, обладать этим духом... Самая внешняя сторона жизни, независимая от меня, не поддавалась подобному идеалу; я не видел около себя ни свободной Лизетты, ни сестры милосердия, увенчанной розами. Большой тополь, который осенял верхние окна и балкон нашего небольшого,

но красивого каменного флигеля,

сводил меня с ума. Он и зимою был живописен, когда весь покрывался инеем и на сучьях его дремали галки, стряхая с него серебряную пыль. Внутри верхний этаж недавно отделали заново; никто еще не нанял его, и я решился обратиться к Ольге Ивановне, просить ее помощи для переселения в живописное и уединенное жилище. Одинокая самобытность сглаживает что-то, думал я. Евгений Онегин жил один; все герои французских романов жили одни; конечно, Бенедикт у Занда жил на ферме дяди; но разве не мешали ему там? Жак? тот был женат, но это все не то: выбранное им самим семейство, в котором все смотрели на него как на первого, в котором самые страдания были высшего разбора и откуда только не практический ум вырвал его для неуместной смерти. Разве это то? Конечно, у нас в доме просторно, опрятно, даже богато; но у Дормедонта руки всегда так грязны, у него такое деньщицкое лицо с огромными усами; тетушка до сих пор не позаботилась ввести перчаток для обеда, и люди навертывают салфетки на пальцы. Ольга Ивановна,

Даша... какая скучная патриархальность! Еще недавно меня выгнали из моей комнаты, потому что Вера (моя бывшая няня), остановилась у нас с шестью детьми. Какая она стала толстая, ходит без воротничка, в ситцевой блузе... Не так бы я жил отдельно.

-- Не скрывайте, -- сказал я Ольге Ивановне, -- что вы имеете огромное влияние на тетушку. Вы не виноваты; она имеет большое уважение к вам. Другая бы употребила во зло ее доверие, а вы... Маленькие все эти ссоры!.. Стоит ли на них обращать внимания. Устройте-ка мне это дело!

Ольга Ивановна пожала мне руку и засмеялась.

-- Vous etes un bon garçon. Постараюсь и сделаю, что могу. Через неделю я перебрался во флигель, несмотря на то, что Дормедонт остался при мне и по-прежнему говорил: "Лучше дам голову срезать, чем сбрить усы". Блаженство мое дошло до такой силы, до какой не доходило оно никогда уже после и на лучших квартирах. Никакие поверхностные фантасмагории детства не могли сравниться с той глубокой теплотой, которою я тогда со-

гревал и настоящее, и мрак будущего; я доходил до страдальческой, незнакомой до того времени неги. Помню, как не раз, устав от работы, ходил я быстрыми шагами по комнате, и все, что попадалось мне на глаза, все волновало меня так сладко, так чудно, что подобных минут после я не помню. Все радовало меня в этот год: и то, что в камине совершается процесс горения, а не просто горят дрова, и то, что в Подлипках прозябают растения по всем правилам науки, выдыхая кислород и поглощая углекислоту -- (точно в Америке какой-нибудь!), и то, что в Москве в морозный и солнечный день на соседней стене пробегает тень от дыма; и реформация, и походы Александра, и Белинский, над которым я уже тогда не дремал... Куда ни оглянусь, везде меня ждет счастье!.. Книг у меня много, одна лучше другой; не говоря уже о содержании, какие есть переплеты! Роскошные сафьянные и скромные с белыми, голубыми и красными буквами на дикой и гороховой бумаге... В Москве вечером мильон огней, и сколько милых девушек ожидают меня со всех сторон - и за зеркальными окнами, и за радужным

стеклом лачужек, в которых есть своя красота. Тогда и Клаша часто прибегала ко мне в салопе по сумеркам. Вечер месячный; мы сядем с ней на диван или У окна; на улице мелькают сани, скрипят кареты. Обниму ее одной рукой; она приляжет ко мне и поет:

С ним одной любви довольно, Чтобы век счастливой быть!... Или:

Что затуманилась, зоренька ясная...

-- Неужели, Клаша, все у нас с тобой так и кончится?

-- Не знаю.

-- А я знаю, что если так часто буду ходить к тебе сюда, я влюблюсь в тебя...

-- Что ты!.. Мы обнимаемся.

-- Ты знаешь ли, что мне даже иногда неприятно, если ты начнешь вспоминать о своей Людмиле...

-- Милая! милая! -- говорю я... Она уходит, а я, как возрожденный, бегаю по комнатам, пою, танцую; но не ее минутная любовь мне дорога -- мне дорого право надежды на многое в будущем, если в восемнадцать лет я слышу такие речи.

III и IV На эту же зиму приехал к нам брат

из Петербурга. Он вышел в отставку, отпустил небольшую бороду, и статское платье шло к нему еще больше военного. Выражение лица его по-прежнему было привлекательно; он возмужал. На несколько времени он сделался для меня идеалом, противоположным Николаеву, полюсом его; они дополняли друг друга, оба годились бы в герои тех длинных романов, которые я рисовал у дяди на полулистах... Джентельмен и лев, блондин с короткими волосами, гладко выбритый и брюнет с бородой, делец и вивер, англичанин и француз. Впрочем, француз Николай был плохой и раз, немного растерявшись, при одной княгине, сказал вместо "un chien enrage" -- "un chien arrange". Такие промахи случалось делать ему нередко, и я скоро стал чувствовать смутно, что он не имел бы большого успеха в том обществе, где мог иметь вес Николаев и где я надеялся со временем блистать. Особенно сильно, если и не ясно, почувствовал я это один раз, когда брат, рассматривая меня, сказал:

-- Ты собой недурен; но ты никогда не будешь производить фурор между женщинами.

Ходишь ты как-то согнув колени, неловок...

Так стало досадно! И я с удовольствием подумал, что есть большая разница (не только качественная, но и количественная) между Николаевым и подобными ему людьми, трудолюбивыми, увальчивыми и небрежными в обществе, и братом, у которого и фрак всегда разлаете, и волосы завиты, и лицо уж слишком триумфально. Через несколько лет я узнал, что я тогда был прав; нашлись люди, которые сказали мне: "У вашего брата много молодцеватости не совсем хорошего тона, и потом, к чему он, как разоденется, так и шляпу уж не просто надевает, а локоть отведет, и все движения сделаются как будто риторические?"

Но все-таки Николай был поразительно красив; нельзя было не любоваться им, когда он входил, например, в собрание... Десятки взглядов обращались на него: рост, благородные черты лица, сила и легкость движений, фрак, сапоги -- все было так хорошо, что почти все другие мужчины перед ним казались и хилы, и неловки, и дурно одеты. Зато же и нравился он женщинам! Его убили двадцати

девяти лет, на Кавказе, после того как он, проигравшись, поступил опять на службу, и в эти девять-десять лет, от восемнадцати до двадцати девяти, сколько приключений, успехов, романов! Были тут и молодые крестьянки, и девицы, и вдовы, и замужние женщины. Одна не хотела расстаться с ним, дней пять держала его на станции: сядет в возок -- дурнота, надо еще подождать; другая, которой доктора запретили иметь детей, умерла в родах, скрыв от него свою тайну; богатые наследницы искали его руки. Но странно то, что все женщины бранили или ненавидели его потом, жаловались на него, презирали себя и его, и одна из них сказала своей приятельнице, за которой он тогда ухаживал: "Что тебе за охота!? J'ai eu aussi le malheur de m'encanailler jadis avec lui!". Конечно, я все это узнал после, не в этот раз, мало-помалу; тогда же я видел в нем только изящного и Доброго человека. Жаль только, думал я, что он ездит по ночам в какие-то темные, грязные, страшные места и смеется над постом и проч(ее). Впрочем, это он, я думаю, не от души, а так перед другими показать... это все лучше. Клаша была в вос-

торге от него. Какие манеры! Как добр! Как танцует! Как одет! Как хорош! Брат обращался с нею снисходительно, весело и небрежно; скоро стал он ее называть просто "толстеньякая".

-- Эй вы, толстеньякая! -- кричал он иногда после обеда, развалившись на диване, -подите сюда! Рассказывайте мне сказку.

-- Что я вам буду рассказывать? И с чего вы это взяли?

-- Ну-ну, не сердитесь...

-- Да я не сержусь. Я не знаю ничего.

-- Садитесь около меня на кресло и дайте мне вашу руку... Рука недурна! Владимир, рука ведь недурна? А? Ты, я думаю, с ней коротко знаком... Расскажите, толстеньякая, в кого вы были влюблены прошлого года?.. Она молчала; а я, лишь бы только угодить Николаю, забывал дружбу и рассказывал ему про нее, как она ревновала поляка к Даше, как она выписывала из книги стихи... Она рвалась бежать; брат держал ее за руки, а я представлял все в лицах.

Однажды я застал Клашу в слезах.

-- Что с тобою? Что с тобою?

-- Оставь меня...

-- Скажи, прошу тебя.

-- Ах, оставь!..

-- Ты не имеешь ко мне доверия. Ты скрытна со мной... А мне можно все сказать.

-- Тебе-то и нельзя. Ты будешь смеяться...

-- Если ты влюблена, так я не стану смеяться... Если б имела привычку фарсить, я бы смеялся; но когда такие люди, как мы с тобой, которые не фарсят, влюбятся, тогда смеяться нельзя. Ты влюблена в Николая? Клаша, не отводя рук с платком от лица, покраснела и кивнула головой...

-- Так что ж за беда? -- сказал я, -- он может на тебе жениться...

-- Никогда, никогда! -- возразила Клаша. -- Разве я пара ему?... Он такой *distingue*! А я и мазурки порядочно танцовать не умею... Я утешал ее, как мог; пробовал даже очернить брата для ее пользы и для своей выгоды,

-- Он ничего не делает, -- начал я...

-- Ничего не наблюдает, ничего не читает, -- закончила Клаша. -- Ах, если б ты знал, как эта ученость в тебе противна... философ! Ревновать и сокрушаться Клаша имела полное

право. Брат веселился и кутил в Москве, и Ольга Ивановна донесла тетушке, что он страшно ухаживает за одной француженкой, которая живет у г. Тренина, богатого и сильного человека. Г. Тренин почти не выпускает ее из дома; они видятся урывками в маскарадах, и, говорят, она хочет бежать с братом в Петербург от своего тирана. Слухи эти были основательны, и Amelie была даже у меня один раз во флигеле. Вот как это случилось.

Однажды вечером брат приехал очень задумчивый и долго говорил с тетушкой в ее кабинете. Я слышал, что тетушка плакала, брат говорил что-то громко, потом вышел оттуда с расстроенным лицом и, обратясь к Ольге Ивановне, которая вышивала в зале, сказал ей:

-- Это все ваши кляузы и доносы. Ольга Ивановна вспыхнула и хотела отвечать, но брат перебил ее.

-- Наслаждайтесь, наслаждайтесь тем, что старуху тревожите... Мне-то все равно. Помните только, что и на моей Улице будет праздник.

-- Вы с ума сошли! -- сказала Ольга Иванов-

на. -- Я вас не понимаю...

-- Хорошо-с! Владимир, пойдём со мною.

Во флигеле брат несколько времени ходил скоро и угрюмо по комнате. Я, наконец, решился сказать ему:

-- Послушай, Николай! зачем ты тетеньку сердишь?.. Может быть, это в самом деле тебе будет вредно...

-- Что? И ты веришь этой старой ханже?

-- Как тебе не грех говорить так! Тетенька почти святая женщина... Брат сперва захохотал, потом вдруг, насупив брови, подступил ко мне:

-- Святая? святая? Это почему? Потому что она эпит-рахили и воздухи золотом заказывает по бархату вышивать?.. А помочь племяннику не надо? На это нет денег? А? Что? на это нет денег?.. Ханжа, скряга старая!.. Я молчал, и хотя был сильно огорчен за бедную тетушку, но все-таки подумал: "Вот человек! Даже сердится-то красиво! как он согнется! как рукой махнет!.."

-- Слушай, Владимир, -- начал вдруг брат спокойнее. -- Правду ты сказал тогда, что Клаша меня любит?

-- Любит, любит... Она вчера плакала об этом... Брат усмехнулся, сел к столу и начал писать записку, запечатал ее и просил меня отнести поскорее к Клаше. Клаша с трепетом открыла ее. Лицо ее выразило волнение, глаза блистали, щеки загорелись.

-- На, прочти, -- сказала она. "Выручите меня из беды (писал Николай). Я проигрался... Сделайте, что можете, я вечно буду помнить вас. Умоляю вас, выручите меня!.." Клаша, пока я читал записку, бросилась к своему туалету, достала оттуда сторублевую бумажку, потом жемчужное ожерелье с бирюзовым фермуаром, маленькие брильянтовые серьги и кольцо.

-- Мало ведь? -- сказала она. -- Вот образа! Я не знаю, как быть... Ведь это грех.

-- Грех, -- отвечал я.

-- Что ж делать?.. Ах, Боже мой! Она села на диван и начала все это завертывать бумагу. В эту минуту вошла Дарья Владимировна. Мы оба покраснели.

-- Это что значит? -- воскликнула Дарья Владимировна с изумлением. -- И образа сняли. Для чего это?

-- Так; это мы смотрели, -- сказала Клаша.

-- А вам что за дело? -- спросил я строго.

-- Знаю, знаю я зачем! -- отвечала она. -- Ах, Claudine! Какие глупости! Надо знать, для кого делать. Неужели тебе не стыдно жертвовать благословением матери и всем, для какой-нибудь гадкой француженки?..

-- Душенька! -- сказала Клаша, -- не говорите никому, умоляю вас.

-- Да я тебе говорю, чтоб ты это оставила. Надо знать, стоит ли человек такой жертвы. Одна мысль, что это для этой отвратительной женщины!

-- Вы ничего не понимаете после этого! -- сказал я. -- Чем эта француженка отвратительна? Вы, я думаю, читали "Лукрецию Флориани".

-- Что за сравнение? Впрочем, и Лукреция ваша гадкая.

-- Если б вы не жили у нас в доме, я доказал бы вам, кто хуже: вы или Лукреция Флориани!

Клаша умоляла меня глазами и жестами, но я топнул и прибавил с большой досадой:

-- Подите, донесите. Вы всегда за старших!..

-- Я одному удивляюсь, сказала Даша грустно, -- как это я имею терпение жить в таком доме!

Она махнула слегка рукой и вышла. И поделом, -- думал я; -- можно ли препятствовать таким делам?

Когда я принес вещи брату, он точно воскрес: схватил их, бегло рассмотрел, надел шляпу, снял ее, бросился к одному шкапу, к другому; позвал человека, дружески взял его за плечо, отвел к углу и шепнул ему что-то... Человек вышел, сел в сани и уехал.

-- Что, эта Амалия хороша? -- спросил я, когда мы остались одни. Она не красавица, но так мила собой и так умна... Да вот, если хочешь, ты можешь увидеть... - Где?

-- Здесь, сейчас... Она заедет сюда, если только умудрилась отпроситься к отцу часа на два сегодня... Вот ты увидишь, что это за женщина! Как она поет из Беранже... И еще одну песню:

Chicandard et balochard! Fuyez la boutique,  
Ou s'fabrique la politique, Par un tas d'bavards!...

Да вот ты увидишь. Вообразите себе мой восторг, мое нетерпение. Амалия приехала

часа через полтора с нашим человеком на извозчике, вбежала и бросилась на шею к брату. Я почтительно встал.

-- А это что за херувим? -- спросила она (она чисто говорила по-русски).

-- Это мой младший брат. Он заранее был уже от тебя в восторге. Амалия поцаловала и меня и сказала:

-- Ah! mon petit chou! если б я не обожала твоего брата, я бы тебя любила. После этого я их оставил одних...

Вечером перевез человек братнины вещи на другую квартиру, а на другой день уже многие в Москве знали об успехе его. Амели вернулась к себе. Г. Тренин, подозревая, что она заезжала к брату, запер ее, но Амели выставила сама потихоньку внутреннюю раму, выскочила из окна, села на извозчика и уехала к брату. Через неделю Николай простился с нами и увез Амели. Клаша опять плакала; брат из Петербурга прислал ей письмо, в котором благодарил ее за все -- и ей стало легче.

Долго не решалась она быть откровенной; наконец сказала:

-- Как приятно жертвовать тому, кого лю-

бишь! Ты видел эту Амели; какая она -скажи.

-- Она очень недурна. Небольшая брюнетка; лицо белое, нос немного en bec d'oiseau...

-- Счастливая! -- воскликнула Клаша. -- Таким гадким всегда счастье. И как он может ее любить? Мне все женщины, для которых он делает что-нибудь, противны. Я целую неделю Катюшу видеть не могла, когда он ее в карету от дождя пустил, а сам сел на козлы...

-- Он должен был это сделать...

-- Вот еще! для всякой дряни...

При этих словах все сострадание мое к Клаше пропало. Катюша к этому времени уже была для меня не горничная, и не просто Катя, подруга детства, а даровитая простолюдинка, священный предмет.

V На этот раз расскажу вам, мой друг, о том, как я познакомился с двоюродным братом моим, Модестом Ладневым. Я не раз и прежде слышал о родном дяде, Иване Николаевиче, отверженце нашей родни. Говорили, что он женился на потаскушке, что она загубила его век, была ему неверна, родных всех ненавидела и, случайно упоминая об ней, на-

зывали ее фигурой.

-- Ну, что ж, долго была там эта фигура? Ольга Ивановна отзывалась о них всегда торжественно: "Это несчастное семейство!" или "я видела вчера на Никитской этого бедного Модеста Ладнева!" Тетушка Марья Николаевна, выговаривая мне однажды за то, что встретила меня в прихожей с Катюшей (она, улыбаясь, глядела мне в глаза, а я держал ее за руку), прибавила:

-- Смотри, мой дружок, не шали! Вот дядя твой Иван Николаич очень был добрый, а век свой погубил через эти глупости. Ларису Онуфриевну помнишь? Вот ту самую даму, которая тебе игрушечную табакерку с пружиной подарила?

-- Не помню.

-- Эх, какой ты! Тебе уже тогда 7 лет было. Еще горбатый старик из табакерки выскакивал вдруг. Так эта тоже... Elle a ete aussi son amante!.. Мать Модеста была дочь бедного чиновника из духовного звания. Вся семья ее пользовалась очень худой славой; одна из сестер Аннушки заставила своего мужа дать себе письменное обещание жениться, при двух

свидетелях; другая разъезжала по разным городам с мужчинами. Дядя сумел, однако, ввести Аннушку в дом своей матери; бабушка ничего не знала; она слегла года на два в постель и не вставала уже с нее. Аннушку пускали за стол, но после жаркого ей приказано было выходить, "чтоб не зазналась"; пирожное относили к ней наверх. О любви Ивана Николаевича к Аннушке старуха узнала незадолго до своей смерти, призвала сына, плакала и заклинала его не жениться... Иван Николаевич тоже плакал и обещал, но через месяц, не дождавшись даже смерти матери, женился. Старуха лишила его наследства. Начался раздел. Петр Николаевич и мой отец взяли по 400 душ, а тетушка Марья Николаевна получила 300. Братья из жалости решились отдать Ивану Николаевичу 100 душ в отдельной деревне. Он начал усовещевать их, требовать, чтобы они выделили ему все сполна. Отец мой отвечал, что мать не велела.

-- Ты и возьми себе, -- отвечал Иван Николаевич, -- а после от себя... хоть деньгами... Тебе особенно, Петр Николаич, стыд... Ты холост и молод, а у меня положим двое детей умер-

ли, да третий, Бог даст, будет жить!.. Петр Николаевич вспылil и сказал ему, что человек, опозоривший семью низким браком, должен за счастье считать, если братья и 100 душ уделят ему Христа-ради. Вышла ссора, и отцу моему много стоило труда удержать братьев даже от поединка. Иван Николаевич взял свою деревеньку и прекратил все сношения с братьями и сестрой.

Все это я узнал после знакомства с Модестом; тетушка всегда, вспоминая с состраданием о бедном брате, никогда не винила ни себя, ни богатых братьев. Я знал, что Модест в Москве, что он студент, и часто думал, как бы сойтись с ним, как бы помирить его с тетушкой и уступить ему (со слезами на глазах) половину своего наследства; спрашивал себя, умен ли, добр ли он, интересна ли его мать. Наконец один знакомый студент сказал мне, что Модест ему товарищ по курсу и что он нас сведет у себя, если я хочу. Я желал встретить бледного юношу, аристократически привлекательного, изящного даже посреди нужды, но встретил высокого, худого, весноватого, курчавого и толстогубого молодого человека,

не совсем опрятного, с изменчивым взглядом и огромным чубуком в руке. Он холодно пожал мне руку и улыбнулся насмешливо. Когда хозяин дома зачем-то вышел, я взял Модеста за руку и предложил ему дружбу.

-- Что нам за дело до наших отцов! -- сказал я. Модест откинулся назад, не выпуская моей руки, тускло и долго глядел на меня; губы его дрожали: потом вдруг он бросил трубку и обнял меня крепко, приговаривая: "Володя, милый Володя!"

Слово за слово, мы освоились друг с другом и, еще раз обняв меня в сенях, он сказал: "Приходи, если ты не презираешь скромной жизни". Он жил с матерью на бедной квартире. Жолтый домишко с зелеными ставнями на одном из самых дальних и пустых бульваров, полинялая вывеска красильщика, навозный двор, девка нечисто одетая -- вот что встретило меня на их пороге. Имение их было недавно взято под опеку, и старуха приехала к сыну в Москву. Бедный Модест содержал ее почти одними уроками. Я приехал к ним вечером в ненастный мартовский день. Меня повели на антресоли по узенькой лестнице, и

там увидел я и мать, и сына, и комнату их, довольно опрятную, но тесную и жарко натопленную... На столе, покрытом голубой бумажной скатертью, кипел самовар. Модест сидел с трубкой; старуха разливала. На ней не было чепца, и вообще она казалась растрепанною; но остатки красоты заметны были в смуглой коже, больших черных глазах, в густой косе, еще мало поседевшей. Глядела она тоскливо, говорила жалобно, нараспев, стонала, хотя и не громко, но беспрестанно склоняла голову то набок, то на грудь.

Когда Модест, с чувством глядя на меня, представил меня ей, я поцаловал у ней руку, но не сказал ни слова. Пустословить не хотелось, а с грустного прямо начать было неловко. Анна Сергеевна покачала головой и спросила:

-- Как это вы нас вспомнили, миленький мой?

-- Я давно желал, тетушка...

-- Полноте, милый аристократик, полноте! Что за охота богатым родственникам с бедными знаться... Что в нас? Угостить нечем, разговоров у нас нет...

-- Что же это вы, маменька, -- кротко перебил Модест, -- таким приветствием его встречаете?.. Это не любезно.

-- Ах, Модестушка! Ах, дитя! Разве можно от больной старухи любезности требовать?.. Видишь, как ты неопытен, мой милый друг, а тоже судишь!.. Модест пожал плечами. Я был смущен и старался завести разговор с ним, чтобы не слышать стонов матери; но все шло с трудом. Я боялся говорить так, как говорил обыкновенно, боялся оскорбить их чем-нибудь, обдумывал каждую фразу, тянул, оставался, беспрестанно мысленно оглядываясь назад... Модест был угрюм, часто поправлял волосы, беспокойно взглядывал на мать. Когда старуха ушла, нам стало легче.

-- Да, Володя, -- начал он, вставая и прохаживаясь с трубкой взад и вперед. -- Не легка жизнь нашему брату... Боже! буди милостив, Боже! буди милостив!

-- Тебе очень трудно? -- спросил я тихо.

-- Нет, ничего, -- отвечал он, потрянув головой, -- сила нужна, воля крепкая, железное сердце, а меня не обидел этим Бог. Без этого, брат Володя, я давно бы зачах. Ходи пешком

за три версты на лекции да по урокам ездил на ваньках по таким ухабам, что живот надорвешь... Дома больная старуха, плохой обед... Мысли своим чередом, страсти кипят вот здесь! (он ударил себя в грудь кулаком...) Иногда грудь так заболит, так заболит, что схватись за притолку да изо всех сил к ней прижмешься... немного и отдохнешь!

Я облокотился на стол в волнении, снял локоть, опять облокотился, снял нагар со свечи (пусть видят, что я не презираю сальных свечей!). Модест продолжал ходить по комнате.

-- Модест! -- сказал я робко.

-- Что, душа моя?

-- Переезжай к нам с матерью... Я знаю тетушку Марью Николаевну. Она не откажет мне. Ты ей поговоришь что-нибудь о почтении к старшим: она растрогается... Модест сжал мою руку.

-- Нет, Володя, нельзя! Я не могу так легко мириться с людьми, которые отравили жизнь моим родителям... моей матери, лучше которой нет на свете. Володя, друг мой! Тетушка Марья Николаевна важная госпожа. Она стыдится нас. Мы позор ее родни. Она первая пе-

рестала переписываться с отцом моим после его женитьбы.

-- Она добра. Позволь мне написать и просить у нее позволения.

-- Пускай себе, пиши. Только я не повезу к ней свою старуху. Я знаю, ты благороден, Володя; но я чувствую такую ненависть при одном имени тех, которых преследования сократили жизнь моего отца и испортили здоровье бедной матери...

-- Послушай, Модест, кто же их преследовал?

-- А самолюбие, Володя? Ты еще не знаешь, что такое amour propre rentre. Ты знаешь, на острове св. Елены, когда Наполеону сказал доктор, что у него рак, вошедший внутрь, так он отвечал: "Нет, это Ватерлоо, вошедшее внутрь". Многие имеют такое Ватерлоо. И она имела! Несчастливая женщина! что она сделала им! Вина ее была та, что она не говорила по-французски, что она была не Дворянка, а обер-офицерская дочь. Отец доказал, что он благороден, женился на ней; но все-таки он был мужчина, обеспечен; он обольстил ее, увлек. А она виновата тем, что человек хотел

загладить свою вину против нее. Да ведь это -- чорт их побери, всех гордецов, собак безмозглых -- да ведь это свинство, наконец. Эх, я знаю... она была скрытна, скрытна, скрытна; и под простой оболочкой иногда живут сильные чувства. Обида глодала ее. А брось он ее, и если бы она потерялась, бедная, ее же бы в грязь втоптал всякий. Хоть при нем поела сладко, голубушка, поспала покойно. Да! а им всем, этим ханжам и скотам, подобно покойному дядюшке Петру Николаевичу, что за дело? Так-то, батюшка мой! А тебе все-таки спасибо... "Сколько прав на счастье!" -- думал я, возвращаясь домой. VI

Это новое знакомство внесло новый луч счастья в мою и без того полную жизнь. К новому жилищу моему, к морозным лунным вечерам, к тополию, к книгам, к Клаше и к Катюше, к антологическим стихам -- прибавилась живая христианская черта. Конечно, я уже и прежде старался усовершенствовать свой дух; но все это было так легко, так мало пахло жертвой, так скоро забывалось, приедалось, как будто портилось на воздухе... В самом деле, что стоило мне не драться с людьми, не

бранить их? Были редкие минуты, в которые удержаться точно было трудно; но ведь я говорю, они были редки. Зол я не был от природы, и у нас в доме не с кого брать дурного примера. Тетушка никогда не дралась; разве, когда была больна и ей становилось скучно, она позовет девочку и скажет ей: "Поди сюда, Матрешка; дай-ка я тебя толкну пальцем в живот". Ольга Ивановна... Хотя я и принимался несколько раз ненавидеть ее за пощочину, которую она дала Катюше, но в другой раз она ни с чем подобным не попадалась мне... Прикащик, как я после узнал, бил мужиков в поле, но до меня это не доходило. Перейдя во флигель, я дал себе слово не толкать камердинера назад в живот кулаками, когда он подаст мне сюртук, не бранить его, не кричать: "Эй, вы! Кто там! Федька! Платошка!", не свистать. Но это было не столько из доброты, сколько из делания быть порядочным человеком, годиться со временем в герои романа. Милостыня? Но разве она дорого обходится мне? Тетушка дает мне двадцать рублей карманных денег; и что мне стоило уделить гривенник слепому старику, который стоял на

коленях на бульваре и бил себя в грудь, выслать что-нибудь савояру, который так хорошо говорит "pour l'amour de Dieu", или помочь бедной женщине на Кузнецком Мосту (ее, должно быть, кто-нибудь научил вместо Христа-ради кричать: "Дайте мне денег -- я голодна!"). Все это потрясало и радовало меня на минуту. "Нет, -- говорил я, -- сделай такое добро, чтобы чувствовать боль... Вот случай тебе: Модест... Сведи его с тетушкой и потеряешь часть наследства!"...

Он стал часто ходить ко мне, наговорил столько за один раз, что мне становилось и скучно, и стыдно за него. То он отдал последний грош товарищу. "Фамилия его была Дуров,-- говорил Модест,-- я его звал Дурашка, а он меня Барашка, потому что у меня курчавые волосы; мы с ним встретились недавно в магазине. Дурашка! Барашка! и ну, обниматься при всех, как безумные". То он любил свою деревню больше жизни...

-- Под окном у нас, -- говорил он с большой теплотой, -- стоит огромная береза на курганчике... Отец-покойник любил это окно. Голубчик мой толст был очень в последнее время;

все трубочку курит и смотрит сюда... даже и зимой. Березу эту он в самый день моего рождения посадил... Мать была очень хороша собою. Бывало, утром, придет маменька в эту гостиную с венчиком, знаешь, из индейчьих перьев, сама пыль с этажерок сметет, станет обед заказывать при отце или работает. А он сидит и смотрит на нее. Захочет она уйти, он ее остановит: "Аннушка ты моя, куда ты? Посиди. Смерть люблю, как ты тут около меня шушлишься!" Он показывал мне миньятюр Анны Сергеевны на слоновой кости, обделанный в золото, и клялся, что только самая крайняя нищета, голод доведет его до продажи этого медальона.

В старом шкафу у них стоял большой пестрый кофейник отличного старинного фарфора: я тотчас же узнал, что он из одного сервиза с нашими двумя старинными чашками, которые, как святыня, хранились у Марьи Николаевны за стеклом, и вы не поверите, что расшевелил во мне этот прелестный кофейник! Модест рассказывал мне нежно, что у него в деревне есть молодая крестница...

-- Поверишь ли, Володя, она так хороша,

так грациозна, так деликатно сложена, что ей приличнее было бы сидеть за роялем в шелковом платье, чем в паневе и босиком за сохой ходить.

Эта красавица вышла замуж, по словам Модеста, два года назад, за самого богатого парня из всего селения.

-- Ребенок, совершенный ребенок! -- заметил Модест; -- вообрази себе, он еще растет и так меня любит, что весь вспыхнет, когда меня увидит, на лошади едет, обернется и долго смотрит мне вслед... "Батюшка, батюшка!" -- прибавил он страстно совсем не таким голосом, каким говорят крестьяне. Все эти рассказы: крестница, береза, медальон, дедовский кофейник, стелящая старуха, желтый домик с грязным двором и бедный благородный студент, ныряющий на ваньке из ухаба в ухаб, из-за рубля серебром в час... Какова эта смесь? Какие картины сменяли одна другую! Сколько прав на счастье, сколько близкой возможности! Каких-нибудь три-четыре тысячи серебром, и имение спасено. Несколько раз я думал, не попросить ли тетюшку, чтобы она отдала мне мое имение в руки, и дать ему ты-

сяч пять? Но, во-первых, тетушка умоляла, заклинала меня не брать моих доходов до полного совершеннолетия; с другой стороны, надо же быть положительным человеком: никто так не поступает, так верно что-нибудь тут есть неладное, глупое или смешное, или неудобное? Лучше просто сблизить его с Марьей Николаевной и, вместо того, чтоб делиться после нее только с Петрушей и Николаем, поделиться и с ним. Она же и теперь может дать ему деньги. Новый мир мыслей, который открывался тогда передо мной, заставил меня презирать всякое безотчетное влечение; я старался не поддаваться ему в поступках и в выборе друзей, становился все больше привержен ко всему тому, что вязалось с подобными мыслями, что хоть несколько напоминало их. Сколько ни шептало мне чувство в пользу брата Николая, как ни было мне "по себе" при нем, я считал его ягодой не нашего поля и намерен был сблизиться с Модестом, который в первые два-три свидания разложил передо мной, как продавец, духовный товар свой. Товар этот как нельзя более подходил под мои потребности,

и когда во мне в присутствии Модеста возмущалось чувство оскорбленной гармонии, поэзии такта, я пренебрегал этим внутренним голосом, считая его самой гнусной несправедливостью к человеку, который на скверных ваньках ездит во всякую погоду давать уроки, носит одежду студента, кормит мать и жалеет простой народ. Тотчас по возвращении в Подлипки я расхвалил его тетушке, Ольге Ивановне и девицам и выпросил у Марьи Николаевны позволение написать к нему от ее имени пригласительное письмо. Я задавал себе вопрос: полюбит ли он Подлипки, поймет ли тетушку? Перед новым лицом и Даша, и Ольга Ивановна становились уже своими, и ими даже я не прочь был блеснуть перед двоюродным братом. Особенно Даша... Она могла бы быть так представительна, могла говорить такие известные французские фразы; над этими фразами мы могли смеяться с Клашей; но разве тот, кого я жду, не должен плениться всем у меня? И он пленится, это верно! Тетушка согласилась без труда. Она не имела ничего личного против племянника. Враждебное чувство против отца и в старину, вероятно, не

было сильно, а года и легкую память досады убили в ней. Модест приехал рано утром. Он не велел меня будить, а сам пошел гулять по саду. Я недаром надеялся на барышень; они показали себя в самом выгодном свете. Обе оделись к лицу: Даша в белом кисейном платье с оборками, с пунцовой лентой на шее, а Клаша -- в голубом с белыми горошками. Ее пышный стан, щеки, не уступавшие в нежности и яркости тем розам, которые были еще в полном цвету в наших клумбах, бледная свежесть брюнетки Даши, гостеприимство тетушки, наш вкусный чай и крепкий кофе, растворенные окна, шум аллей в саду, пение птиц

-- все это обворожило Модеста.

-- Счастливец, Володя! -- сказал он, обнимая меня, когда мы остались одни. Встреча его с тетушкой была очень любопытна. Я ввел его в гостиную; он бросился к ней и начал целовать ее руки с жаром. И слезы даже показались на глазах. Тетушка засуетилась, совалась целовать его то в щеку, то в лоб...

-- Здравствуй, здравствуй, дружок мой, -- говорила она взволнованным голосом, -- очень

рада, что ты меня вспомнил. Здравствуй. Как ты на отца похож! Садись, садись... Я слышала, мой друг, о вашем несчастье. Что же делать... Богу было так угодно!

-- Сам бы я ничего, ma chere tante, но моя старушка...

-- Конечно, мой дружок... Une mere! За обедом Модест был очень разговорчив. Начал рассказывать, как он играл в благородном спектакле в губернском городе год тому назад, смеялся над некоторыми провинциалами, выставляя себя в виде ловкого и светского человека, так что на меня под конец обеда из-за скромного труженика выглянуло вовсе незнакомое лицо. На другой день он уже стал совсем как дома, декламировал стихи, особенно "Последнее новоселье", по-каратыгински гремел, шипел и стлался по комнате; делал также и комические штуки, представлял на сцене не только обыкновенного зайчика, но и жующую старуху, и немца из платка с узлами. По утрам выходил уже не в студенческом сюртуке, а в коричневой жакетке, с носовым пестрым фуляром на шее и в широких клетчатых шароварах; умел с разбегу перебрасы-

ваться на руках через перила балкона и старался быть как можно ровнее с девицами; во время прогулок подавал руку то одной, то другой, так что похвальная цель стала уже слишком заметна. Клаша просила меня брать всегда ее. "Он не в моем вкусе", -- прибавила она.

Рассказывая что-нибудь, он часто приходил в сильный пафос, и всегда было ясно, что он насилует, подгоняет себя и не знает даже, как выпутаться из своего рассказа. Мне тогда становилось совестно и страшно. Клаша сознавалась мне в том же самом. Особенно, когда он рассказывал мне про дуэль, которую чуть-чуть было не имел в том губернском городе, где он украшал собою сцену год тому назад. Под конец рассказа он стал запинаться, краснеть, вскакивал, махал рукой и говорил Бог знает что. К счастью, дуэль кончилась примирением; противник извинился, и мы с Клашей переглянулись и вздохнули свободнее. Ольга Ивановна на подобные оттенки не обращала внимания и хвалила его во всех отношениях:

-- Он очень должен быть добр. У него много

познаний. Он некрасив, но у него значительное лицо.

Даше тоже:

-- Он очень интересен, -- говорила она и уже начинала кокетничать с ним. Модест сочувствовал всему в Подлипках. Плотнo поужинав и выпив по рюмке хереса, уходили мы в нашу комнату и ложились с трубками в постель. Тогда он мне говорил:

-- Здесь у вас во всем видно довольство. Видно, что люди не угнетены, а баловство не сделало их надменными.

Другой раз:

-- Мать твоя очень хороша собой была. Я с удовольствием сравнивал вчера ее портрет с портретом моей. Между ними большой контраст. Одна белокурая, нежная, настоящий аристократический цветок, а другая смуглая брюнетка, с свежим румянцем

-- народная кровь! В одной все нерв, в другой -- все кровь! Или:

-- Тетушка, однако, важный мальй, патриарх такой милый, bon enfant в высшей степени! И, знаешь, у нее есть

поэзия. Я заметил это сейчас: все сидит у

окна и созерцает; ничего не пропустит. Самый выбор горничных показывает, что у нее есть вкус. Какой ты, однако, счастливец, Володя! Я думаю, ты тут как сыр в масле катаешься. А? признайся.

-- Ну уж, -- воскликнул я -- я так тебе завидовал. Здесь нет возможности позабавиться. Тетушке все доносят, и она за поведением смотрит строго. Как это глупо, не правда ли? Она как узнает про какую-нибудь из своих горничных, так сейчас предлагает человеку, который ее обольстил, в рекруты или жениться. Один такой осел пошел в рекруты прошлого года, не хотел жениться. Удивляюсь! Я бы сейчас на его месте... Она была очень недурна. Вот хотя бы взять пример из нашего сословия... Неужели бы ты не женился с удовольствием на девушке, которая пожертвовала для тебя всем? Чего еще хотеть?.. Как люди балуют себя, я не понимаю!

-- Это благородный идеализм еще в тебе не остыл, Володя!

-- Какой идеализм! Нет, я очень просто говорю, что жениться приятно на той, которую уже знаешь. Да и жалко ее. Девушки бедные

всегда от мужчин страдают.

-- Ах, Володя, Володя! ты уж слишком ценишь женщин. Они сами не знают, чего хотят. Я был знаком с женой одного молодого чиновника. Муж был гораздо красивее меня, однако я успел без труда. Она писала мне самые страстные письма. Я бы тебе их прочел, да они остались в Москве.

Девиц он определял так:

-- Какие два характера! Я сейчас понял их. У меня взгляд так пронизателен, что самому иногда больно. Клаша мягче сердцем; она способна сильно любить, кротко и в молчании: это Rose Bradwardine Вальтера Скотта; а та вся дышит силой и энергией. Какой рост, какой профиль, какой огонь в глазах! Вчера мы долго говорили с ней в саду. Я чувствую, что мы сойдемся... Она напоминает мне Сильвию в Жорже Занде.

-- А ты любишь Занда? -- поспешил спросить я с жаром.

-- Нет, -- отвечал он, -- некоторых лиц нельзя не любить -- вот, как Сильвия или Лелия; но вообще, что за пошлая у нее борьба женщины против мужчин! Эта фраза очень огор-

чила меня; но я скоро забыл ее, благодаря похвалам, которые он расточал моей обстановке; за похвалы окружающему, за умение поднять это окружающее, придать ему высший смысл, я готов был простить все пороки, всякую мелочность, всякое отсутствие правдивости и чувства меры. Кроме всего сказанного, я не мог не полюбить Модеста и за то, что он обращался со мной как с ценной и крупной вещью, беспрестанно повторяя мне: "Твоя невинность и умная неопытность пленяют меня". Он прожил у нас две недели и чуть не со слезами уехал в Москву.

-- Побыл бы и больше, да старуху жаль: она больна. Тетушка была очень довольна им и советовала мне подражать ему.

VIII О Софье Ржевской я часто мечтал, еще не видав ее. Воображал я ее себе девушкой сильной, недоступной, прекрасно воспитанной, может быть, умной. Иногда казалось мне, что Софья та самая подруга-сверстница, которая гуляет в локонах с книжкой, ожидая меня где-то далеко, в лесу, на берегу реки. Клаша и Даша познакомились с нею без меня у Колечицких, молодых супругов и родствен-

ников наших, которые любили жить весело в своей прекрасной деревне верст за 50 от нас. От Колечицких наши барышни с тетушкой ездили к самим Ржевским и прогостили там с неделю. Бесцветные похвалы, которые расточали Софье Даша и Клаша, не могли еще сами по себе сделать ей большую честь в моих глазах; напротив того, уже первая потребность отчуждения от своих для любви была знакома мне; уже мне нравилось особенно то, о чем не могли знать и говорить наши, когда я услышал от Клавдии Семеновны, вместе с похвалами, и живые описания из домашнего быта небогатых, но блестящих Ржевских. Клаша рассказывала мне о неприятных отношениях Софьи с матерью. Заметно было, однако, что она, признавая их неприятностями, придавала общему духу жизни, в которых они зарождались, привлекательное значение. Никакой насмешки, никакого юмора не было в ее словах. У Колечицких Ржевская бранила свою дочь за то, что она встает беспрестанно за другими девицами, когда те, от нечего делать, целой вереницей то уходят, то входят, из залы в сад, из сада в залу. Ржевская увезла дочь в

самый разгар удовольствий, не позволила ей играть роль помещицы в "Барской спеси и Анютиных глазках", сказала, что пьеса эта грязна... Она была, значит, скучной помехой молодости; но как она умна и начитана! Как мил ее кабинет с резной дверью, за которой она собственным старанием разводила дорогие цветы!

-- Даша, а как хорош рояль у Ржевских!

-- Да... Помнишь, Клаша, вечером на балконе: темнота такая в саду и рояль?

-- Мне нравится, Даша, походка Евгении Никитишны. Вот уж можно сказать une grande dame. Заметили вы ее руки? Как хороши! У Софьи хуже, больше...

-- У Софьи руки отцовские.

-- Как это вы помните его руки?.. Я его боюсь и не гляжу на него. Какая жена и какой муж!

-- В молодости он был гораздо лучше ее. Разве ты не видала его портрета? Соня напоминает его иногда.

-- Вот, Володя, тебе предмет -- влюбись в Софью. Она лучше твоей Людмилы. "Когда бы увидеть ее!" -- думал я.

Желание мое исполнилось вскоре. Недели через две после отъезда Модеста из под Подлипок Ржевские, мать, дочь и тетка, приехали к нам и провели у нас целые сутки.

Софьи не было в гостиной, когда я вошел: она ушла с барышнями на качели. Тетушка сделала мне знак, чтобы я подошел к руке Евгении Никитишны, и меня немного обидело, что эта гордая дама поцаловала только воздух над головой моей. Боясь оскорбить неравенством Настасью Егоровну, я и к ее руке приложился -- и она сделала то же, что Евгения Никитишна. Но к надменному лицу г-жи Ржевской это шло, а золовка ее показалась мне в эту минуту очень жалким существом: сухая, некрасивая, без чепца, веснушки... А туда же! Поворачивая за деревья, за которыми стояли качели, я был немного взволнован. Там за зеленью раздавался незнакомый женский голос. Софья стояла на доске, схватясь руками за веревки, и я вдруг увидел в двух шагах перед собою ее цветущее лицо. Нет сомнения, это она! Она в локонах, в диком платье с белыми полосками; она покраснела, когда Даша (с той праздничной гордостью, с которой мы

часто рекомендуем близких людей, вовсе не любя их) сказала:

— Вот наш Вольдемар! На кого она похожа? Глаза темные, большие, как у отца на портрете, и губы такие же добродушные, как у него, а все остальное и все вместе как-то напоминает силу выражения и неправильные черты матери. Кудри темные, румянец мраморный; робка, говорит мало, а смеется мило. Что бы ей сказать? На этот раз не сказал ничего; но, когда она перед отъездом похвалила наши розы, я нарвал их целую кучу, исколол все руки второпях и поднес ей букет с почтительным поклоном. Она благодарила, не поднимая глаз.

В конце сентября мы с тетушкой собрались отдать им визит. Что за погода стояла тогда! Как хороша их деревня, я сказать не могу. Я уже описывал вам ее в главных чертах, а сколько живых подробностей я должен был опустить! Особенно помню я первый ясный и прохладный вечер: мы ходили гулять в лес и по берегу реки; Евгения Никитишна осталась дома с ленивой тетушкой; я повел Софью под руку, а за нами шла Настасья Егоровна с од-

ной соседкой, про которую я могу сказать только, что она была девица, немолода, носила большой зеленый платок, а косу обвивала вокруг головы, как в старину маленькие девочки. Настасья Егоровна не спускала глаз с племянницы и изредка кричала ей: "Софи, иди потише". О чем мы говорили, не помню; помню, что я трепетал от радости. На возвратном пути, в овраге, увидали мы растерзанный, стоптанный труп белой кошки.

-- Несчастливая! -- сказала Софья. -- Вы видели серого котенка в зале? Это ее котенок.

-- Вы верно любите котят? -- спросил я.

-- Ненавижу, -- отвечала она с гримасой, -- я всех этих животных ненавижу: котят, маленьких собачонок, мышей... Так гадко... Я люблю только больших собак и лошадей. Этих котят мама велела взять; они были голодны и кричали в хворосте тут... Мама очень жалеет этих всех животных, а мне ничего; только пока крик слышу, жалко, а заниматься ими терпеть не могу. Я вспоминаю, как я бранил Дашу одно время точно за такие вкусы, как я говорил, что она фарсит, как язвили мы ее с Клашей за это, а тут совсем не

то... Мне казалось, что это так и должно быть, что даже стыдно любить каких-нибудь котят... То ли дело конь, большой пес?.. В них есть сила -- и в Софье есть сила. После этого мы поднялись на пригорок и увидели Дмитрия Егоровича. Он лежал на траве один-одинешенек. Заметив нас, толстяк засуетился, схватил свою трость и, поднявшись с трудом, медленно побрел к флигелю. Дочь следила за ним глазами. Он миновал дом, присел было на своем крыльце, но, увидав нас опять вблизи, опять заторопился, встал и, нагнувшись, ушел в свою низкую дверь. Софья, поблагодарив меня, тотчас же убежала к нему.

-- Бедный Дмитрий Егорыч! -- сказала тетка своей спутнице в зеленом платке, -- как он, я думаю, счастлив теперь, что Соня пошла к нему. Он ее обожает... Соседка глупо усмехнулась и заметила, что ведь и Софья Дмитриевна "очень жалеет папашу".

Тогда я не имел еще ни малейшего понятия о прачке, которую Дмитрий Егорович хотел когда-то засечь, нимало не думал о вредной расточительности его и знал только, что Евгения Никитишна -- начало строгости, эко-

номии в доме... Поэтому за ужином я ненави-  
дел г-жу Ржевскую и не мог отвести глаз от  
бедной дочери и гонимого отца, который си-  
дел все время молча, много ел и в промежут-  
ках между блюдами, облокачиваясь на стол,  
закрывал руками лицо. Я не жалел Софью; не  
знаю, как другие, а я никогда не умел сильно  
жалеть того, кто мне сильно нравился; но я  
уважал, уважал ее глубоко, когда она наклад-  
ывала на тарелку отцу его любимые куски,  
шептала ему что-то на ухо, заставляя чудака  
улыбаться, или сама завязывала ему на шею  
салфетку.

"Мегера! Мегера!" -- думал я, глядя на Евге-  
нию Ни-китишну, и с холодностью слушал ее  
умные рассказы о Петербурге, о графине N\*, о  
князе С\*, об итальянской опере, о m-me Allan  
и Virginie Bourbier.

Мы хотели ехать на следующее утро, но,  
проснувшись, увидали, что все небо обложи-  
ло тучами и что дождь теперь нес скоро пере-  
станет идти. Евгения Никитишна сказала те-  
тушке:

-- Куда вы спешите, Марья Николавна? Я,  
право, так рада вас видеть и вспомнить с ва-

ми старину! Прежде мы видались часто. Посмотрите, что делается на дворе. Подождите, быть может, завтра будет лучше.

Тетушка взглянула на меня, я улыбнулся. Евгения Никитишна обратилась к дочери:

-- Это ваше дело, Софья Дмитриевна, занять молодого человека, -- сказала она. Софья покраснела и я тоже.

Дождливый день прошел с приятной медленностью. Да, я был рад, что время между завтраком и обедом тянулось долго. Софья принесла сама в гостиную целую кипу книг с политипажами и гравюрами, и мы часа два рассматривали их, сидя рядом на диване против дверей, чтоб старшие могли нас видеть. Изредка входила к нам Настасья Егоровна и, наклонясь над столом, спрашивала:

-- Это кто, бишь? я забыла...

-- Это Godefroi de Bouillon, -- отвечала Софья.

-- А! да! Godefroi de Bouillon! -- восклицала Настасья Егоровна и гордо отходила. Софья показывала мне иногда пальцем на картинки; руки ее (правду сказала Клаша) были немного велики; но какими почтительными

и вместе страстными глазами я впивался в них! После прекрасного обеда Софья, Настасья Егоровна и я играли в домино. Потом Настасья Егоровна села за рояль и играла нам танцы, и мы танцевали, с позволения матери... Вечером в гостиной затопили камин, и Евгения Никитишна вызвалась прочесть нам что-нибудь громко (карт тетушка не любила, а сказки слушала охотно). Выбрали "Ундицу" Жуковского, и г-жа Ржевская читала с чувством и с уменьем. Печальный муж ее слушал тоже, в темном углу за камином.

-- Как это свежо! -- сказала Ржевская, закрывая книгу. -- Вы верите этому, Марья Николаевна?

Тетушка не нашлась, развела руками, улыбнулась...

-- Хотелось бы верить! -- прибавила Ржевская, опустив глаза и рассматривая кольцо на своей прекрасной руке.

Она показалась мне очень молодой в эту минуту. За ужином посмеялись и пошли спать. Я заснул в упоении. Нас хотели удержать еще на два дня, но тетушка справедливо думала, что дождя этого не переждешь.

-- Что? не скучал? -- спросила она дорогой.

-- Какой скучать! Какая умная женщина Евгения Никитишна!

-- Еще бы не умная! -- воскликнула тетушка; потом прибавила, громко прищелкнув языком, -- жаль только, нравна очень! Катюша мне вчера, как я спать ложилась, рассказала, от девок слышала... не только дочь или муж, золовка пикнуть не смеет; как та голос поднимет, эта уж и дрожжи пролила от страха! Тогда, дорогой, я узнал от тетушки всю историю Ржевских. Я не понимал, как могла женщина так круто поступить с красавцем-мужем, как у нее достало духу. Ума и силы сколько! Какова-то дочь?

Умна Софья показалась мне с тех пор, как девицы наши написали мне в Москву, что Ржевские еще раз в ноябре по первому пути были у нас, что Софья в восторге от меня, говорит: "какой милый!" и даже целовала при них мой дагерротип (не забудьте, что она не более года тому назад оставила институт). Я говорю, что с этой минуты она показалась мне умною девушкой; и говорю я это без всякой насмешки над самим собой. К этой поре я

уже любил и уважал в себе давно не то, что уважал и любил прежде, и мне все казалось, что она понимает это; казалось, что я бы ей не понравился, если б она не слыхала или не угадывала кой-чего; я думал: "до нее долетит благоухание юноши-дельца", так точно, как до меня долетал смутный дух ее домашних страданий!

IX Я давно уже сказал вам, что Катюша выросла и похорошела. Свежее, не слишком белое лицо ее было продолговато, каштановые волосы густы и мягки, хотя и пахли немного ночником; руки невелики и всегда чисты; ростом она была невысока и смотрела весело и бегло. Она была стройна без корсета и могла бы выдержать сравнение с самой привлекательной субреткой, если бы в манерах ее было поменьше грубоватого простодушия. Она ходила иногда немного согнувшись, размахивала руками, была всегда занята и всегда добра; когда ей случалось смеяться при господах, она закрывала рот рукой, несмотря на то, что зубы у нее были гораздо лучше, чем у всех нас, и закрывать поэтому было нечего. Долго не решалась она заботиться о своей наружно-

сти, носила узкие, обтянутые Рукава, как наши старые горничные, и стыдилась подражать барыням в покрое платьев и прическе. Когда ей нужна была вода для чего-нибудь, она не посылала, как другие девушки, мужчин на колодезь и не спорила с ними, а шла сама, сильной рукой вертела колесо, доставала бадью и потом тащила огромный кувшин домой, перегнувшись на один бок, оттопырив свободную руку и раскрывши иной раз, в рассеянности, рот. Зато все люди любили и уважали ее, никто на нее не жаловался, никто не бранил ее, никто даже не звал Катькой; один называл ее кума, другой -- сватьюшка, третий --душечка-Катюшечка, четвертый -- Катя. Стоит зайти ей на минуту в людскую, уже сейчас зазвонит там балалайка, затянется песня, заиграет гармония, заходят половицы... Сама те-тушка говорила:

-- Терпеть на могу этих расфуфыренных модниц! Вертит, вертит хвостом, только ветер поднимает, а толку ни на грош! Вот Катюша -- девка, как девка: и работающая, и безответная, и опрятная.

Я скоро стал обращать внимание на ста-

рую подругу моих игр: сначала возобновлял дружбу всякими шалостями, беготней по задним дворам, ловлей на чердаках, наконец, просто, борьбой, в которой я хотя и брал всегда верх, но не без труда, потому что она была смела, сильна и увертлива. Под влиянием детски грубых страстей я забывал иногда мужское самолюбие и говорил ей в деревне: "Знаешь, что... Пойди-ка со мной в сени; там огромная собака... я один с ней не слажу". Она поверит и пойдет, а собака выйду я сам и брошусь на нее. Иногда она была не прочь от проказ, но другой раз сурово отталкивала меня рукой в грудь и восклицала: "Ах, Господи! отстанете ли вы от меня? Я, право, тетеньке скажу". Я обижусь, уйду и после долго хожу по зале с гордым и холодным лицом. Потом, около того времени, как я перешел во флигель, осененный серебристым тополем, и поклялся начать совсем новую жизнь, я и с ней переменял обращение: говорил с ней вежливо, дружески, разумно, покупал ей иногда дорогую французскую помаду, чтоб заглушить хоть немного скверный запах ночника, привозил ей конфеты и фунтами, и по две, по

три в кармане, откуда-нибудь из гостей, дарил платки, косынки, перчатки, чай, сахар... Она принимала все с благодарностью и, приподнимаясь на цыпочки, целовала меня в губы с почтительной осторожностью.

-- Эх, Катя! -- говорил я грустно, -- не так ты меня цалуешь!

-- Как же еще вам? Вы скажите. Я буду знать вдругорядь.

-- Зачем вдругорядь? Ты теперь поцалуй меня так, как ты бы Авдошку или Григорья поцаловала, если бы любила его...

-- Уж не знаю, право! Пойдите-ка, я для пробы, на первый раз, хоть так... И, взяв меня одной рукой за шею, нагибалась к себе и целовала крепче прежнего. Сколько раз обманывала она меня! Захочется мне видеть ее у себя, я приду в сумерки в девичью и скажу как нельзя суше и величавее: "Девушки! мне надо вот эту тетрадку сшить: кто свободен?., хоть ты, Катюша". Уйду опять во флигель, жду, жду -- она нейдет. Заверну в людскую... так и есть: Катя уже носится с платком по избе; кум Григорий играет на балалайке; двое-трое людей молча любит на нее, а у нее глаза так и

сверкают. Вздохнешь и пойдешь домой, задумчиво засунув руки в карман, и думаешь:

-- Что это женщины как странны! Чего они хотят? Как здесь во флигеле хорошо и удобно, все устроено как нарочно для самого обворожительного и скромного житья!.. И вдруг плясать в людской, где пахнет дегтем, Щами и махоркой! Что за вкус!

Доримедонт, должно быть, заметил мою слабость к ней. Всякий раз, как только она приходила при нем за каким-нибудь делом во флигель, он кричал на нее самым зверским голосом: "Чего ходишь за пустяками? Нет того, чтобы вечерком завернуть, когда барин дома!.."

-- Молчи ты, грач! настоящий грач, как есть!

-- То-то грач. Помни ты мое слово: умрешь, черви источат и крысы съедят. Ступай-ка, ступай-ка... не то, вот я тебя щеткой отсюда пужну! При мне не показывайся на глаза; без меня ходи, говорят, слышишь?..

-- Ах, ты грач! Прямой грач!..

-- Чего смеешься? Прямой грач... Известно, не кривой: оба глаза целы. Ну, ступай, ступай,

пока жива!..

Я всегда слышал из своей комнаты, как они спорили в прихожей, и помирал со смеха.

Наконец судьба доставила мне случай мимоходом оказать ей довольно важную услугу.

У нее не было ни отца, ни матери; но родной дядя ее, вольноотпущенный, держал, верстах в двадцати от нас, порядочный постоянный двор в большом торговом селе. С ним жила старуха-мать его, родная бабушка Катюши, и она очень любила сироту. Давно уже собиравалась она откупить ее и, не имея денег, угваривала сына внести за племянницу сто рублей серебром. Раза три приезжала старуха в Подлипки, но тетушка не решалась отпустить Катюшу.

-- Успеешь еще, матушка, успеешь... Я только что привыкла к ней, да и отпустить... Посуди сама...

-- Знаю, матушка, Марья Николавна, знаю. Да если ваша милость будет... Толкуют-толкуют две старухи целый час, а Катя все крепостная. Возвращаясь от Ржевских с тетушкой и Катей, мы заехали к дяде, покормить и напиться чаю. Надобно заметить, что тетушка

была всю дорогу очень довольна Катей. Я, кажется, говорил уже, что за день до нашего отъезда красный сентябрь стал мрачным октябрем; небо обложило; шел мелкий, холодный дождь; дороги размокли и испортились. Мы ехали оттуда на вольных, в двухместной, очень высокой карете. Катюша сидела сзади в колясочке. Человеком с нами был красивый парикмахер Платошка; он забыл захватить с собою шинель, озяб, промок, раскис; на станциях бросался прежде всего на печку и, жалуясь на ломоту в руках и ногах, не хотел ничего выносить из экипажа. Катюша все делала за него.

-- Где наш дуралей? -- спрашивала тетушка.

-- Он на печке... очень нездоров, -- отвечала добрая Катя.

-- Кто же нам чай подаст?

-- Я подам. А у самой ноги и все платье внизу мокрые. На Трех Горах мы с ней вместе выходили, чтоб облегчить лошадей; лезли пешком, по грязной дороге в гору, и я, признаюсь, выходил только потому, что перед ней было совестно. На мне были калоши и большое ватное пальто, а она в легкой клетчатой каца-

вейке и козловых башмаках не только не отставала, но и перегоняла меня подчас.

-- Возьми мое пальто, -- говорил я.

-- Вот еще что выдумали! Сейчас я так и взяла ваше пальто. Я еще этакое страшилище долгополое и не захочу надеть. Не бойтесь, не растаю. Жива буду, и с вами еще дома покутим.

А сама хохочет. Лицо мокрое, свежее; глаза блестят так, как, бывало, во время пляски блестятели. Сама тетушка ее звала сесть в карету на ларчик, у нас в ногах; но она отказалась.

Когда тетушка, напившись чаю, легла отдохнуть, я вышел в сени, в надежде встретить Катюшу. И точно, она вдруг выскочила из избы и сказала мне очень торопливо:

-- Пойдите-ка сюда; бабушка что-то хочет вам сказать. На бабушку эту я смотреть не любил. Она была очень мала ростом, ужасно суха и сморщена; по всему лицу и по рукам красные и синие жилки и шишки; глаза нечистые. Как увидит меня, так сейчас и запищит самым жалобным, тоненьким голосом, охает, вздыхает, стонет.

-- Батюшка, батюшка! Здравствуйте, ба-

тюшка... Какой большой вы стали, какой красавец!..

А сама и направо нагнет голову, и налево -- все любуется.

-- Не можете ли вы, батюшка, попросить вашу тетеньку... тетеньку вашу попросить, батюшка... Просьбицу нашу передать потрудитесь...

-- Да что такое?

-- Катю, батюшка, внучку мою, Катю... откупить хотим. Я пошел к тетушке, стал уговаривать ее, урезонивать, уверять, что Катя будет и после ей служить за умеренную плату. Два раза призывали Катюшу, два раза сама бабушка приходила и падала в ноги, утверждая, что Катя за малую цену рада будет хоть век служить, что "ей у вас хорошо, матушка, ей у вас очень хорошо!". Наконец мне удалось тронуть тетушку. Я поцаловал ее руку и сказал: "Уж Бог с ней! Ведь старуха ее столько же любит, сколько вы меня... Старухе бедной немного жить осталось. Утешьте ее". Тетушка согласилась, взяла у старухи сто рублей и обещала, тотчас по возвращении домой, приготовить отпускную. Когда совсем стемнело, и тетуш-

ка, загасив свечу, заснула в большой комнате на диване, я ушел за перегородку. Немного погодя дверь из сеней тихо скрипнула, и Катя вошла на цыпочках.

-- Вы не спите? -- спросила она.

-- Нет. Какой тут сон!

-- Что ж так не спится? -- спросила она, садясь на мою кровать и наклоняясь ко мне, -- дайте-ка мне вашу ручку...

-- Когда ты отвыкнешь от этих ручек и ножек? Так противно... У другого барина рука в поларшина, а ты все "ручка!".

-- Я хотела поблагодарить вас, -- отвечала она шопо-том и наклоняясь к самому лицу моему.

-- Так благодари по-человечески, а не этак. Катя прилегла к моему плечу, чтобы заглушить смех.

-- Что это, какие вы нынче сердитые стали! И приступу к вам нет! Страсть, да и только!.. Я знаю, за что вы на меня сердитесь... Подождите -- и на нашей улице будет праздник...

-- Да; а до тех пор и Авдошка, и Платошка, и все тут будут!..

-- С чего же вы это взяли, чтобы я да на ка-

кую-нибудь дрянью да вас променяла? Я с вами... говорить если так... просто... с самого детства росла... И вот так же, как теперь, на кровати у вас ребенком сидела... Ах ты Господи! Помните, как я вам загадки-то задавала... Господи ты Боже мой! чего-чего только не было... Она вздохнула и обняла меня.

-- Я завсегда даже буду за вас Бога молить. Вот вам мое слово!.. И замуж не хочу! За какого-нибудь дьявола, прости Господи, пойдешь, еще бить меня будет... Ни за что! Ну-с, прощайте, покойной ночи, приятных снов вам желаю... Я сладко уснул.

Тетушка, конечно, сдержала свое слово, через месяц Катя была свободна. Я добросовестно ждал, изредка упрекая ее за холодность. Но она всегда находила оправдания.

-- Что вы? беды мне что ли желаете? Я от вас этого, признаюсь, даже не ожидала! Сказать, теперича, вам по правде: мы с вами вместе росли и всегда играли, и всю вашу доброту я помню... Дайте мне с деньгами справиться... Дядя даже бабушке все глаза мной колет...

Х Модест, конечно, рассказал тетушке о бедственном своем положении; не знаю, что

отвечала ему тетушка, но он, уезжая, сказал мне:

-- Добра старушка, да не совсем! Эх, брат, не дай Бог тебе иметь мой дар предчувствовать и угадывать людей! Прощай.

После его отъезда мы с Ольгой Ивановной часа два ходили по зале и придумывали, как бы помочь бедным Родственникам.

-- Марья Николаевна, -- сказала солидная весталка, -- не в силах внести за них в опекунский совет или заплатить другие долги. Вы судите об этих вещах слишком легко и поверхностно, Вольдемар. Добро должно иметь свои пределы, как и все другое на свете. Ковалевы, может быть, будут у нас жить в доме эту зиму; за брата вашего заплачено 3000, урожай плохи. Вы знаете ли, сколько копен стало на десятине?

-- Пожалуйста, об копнах не говорите!

-- Хорошо вам пренебрегать этим!..

-- Будемте говорить пожалуйста о деле, о Модесте...

-- Что же я могу сделать? Марья Николаевна, может быть, найдет им уголок в своем доме, хоть внизу во флигеле. В таком случае вам

придется перейти опять на ваше старое пепелище, в зеленую комнату, а верх отдадим Ковалевым... Она поглядела на меня с твердым и внимательным добродушием. Меня подрал мороз по коже. Опять за старое! Эта жертва казалась мне свыше сил. Опять дитя, ученик! Опять все на глазах, опять домашние девицы, маленькие ссоры, невозможно принять к себе кого-нибудь тайком... (хоть бы Катюшу, которая, может быть, отойдет от нас к этому времени, или что-нибудь вроде Amelie). Что делать? Почти дрожащим голосом, решившись устрашить себя собственным самолюбием, -- сказал я Ольге Ивановне: "Что ж за беда? я готов на эту жертву" -- сказал для того, чтобы уж после нельзя было отступить. Но один Бог знает, как унизила бы меня в собственных глазах эта жизнь в тесной зеленой комнате, в двух шагах от тетушкиной спальни. Так и решили. Но сама судьба наградила меня за это доброе намерение: через две недели после нашего возвращения от Ржевских Модест прислал письмо.

"Finita la comedia! -- писал он. -- Старухи нет, и нет имения! Я застал ее больною; все

мои старания, все усилия врачей не повели ни к чему. У нее была водяная в груди. Молюсь и благодарю Бога за то, что он дал мне возможность успокоить ее последние дни и похоронить ее с честью. Ты понимаешь, Володя, кого я лишился в ней. Имение продано с публичного торга". Модест ошибался, говоря, что я пойму его утрату. Я вздохнул свободнее и за себя и за него. Что ж делать! С мыслью о матери я привык соединять чувство изящного, глядя на белокурую женщину в голубом газовом шарфе с букетом белых роз в руке, которая висела на стене тетушкиного кабинета. А его старушка, казалось мне, только мешала ему жить оханьем и растрепанными волосами. Ни китайский кофейник, ни рассказы сына, ни миньятюр на слоновой кости нимало не озаряли ее в моих глазах: все это только согревало какой-то темной душистой теплотой. В конце октября, когда я вернулся к моим учителям, Модест поселился у нас. Я с радостью уступил ему крайнюю комнату, и тетушка сама приходила во флигель, чтобы взглянуть, все ли там есть, что ему нужно.

Модест схватил ее за руку, сделал такое ли-

цо, какое бывает у человека, изо всех сил старающегося сдержать слезы, и сказал:

-- Ma tante, ma tante! Я благодарю вас не за себя, а за бедного одинокого человека, которого вы утешаете.

Тетушка поцаловала его в лоб.

-- Что ж делать, мой дружок?.. Богу так было угодно. Никто, конечно, не заменит матери.

Потом, помолчав, тетушка покачала головой и прибавила:

-- Oui, les soins d'une mere... Тебе рукомойник надобно поставить сюда. В ноябре было ее рождение, и благодарный Модест в течение недели просиживал все вечера за клейкой рабочего ящика, особенно за крышкой, где под стеклом была поставлена хорошая гравюра, тщательно и не без вкуса раскрашенная самим Модестом. Не ней была изображена Мария Магдалина в пещере, полунагая, прикрытая голубой мантией; глаза ее были грустно опущены на человеческий череп.

-- Какой он, в самом деле, скромный, искалеченный молодой человек! -- сказала тетушка, показывая мне подарок.

Модест скоро сделался привычным лицом в нашем доме. Он долго еще был грустен; по лицу его, казалось, беспрестанно проносилась какая-то тень. Он мало говорил, большею частью ходил по зале, засунув одну руку за другую в рукава, изредка улыбался нам кротко и задумчиво, как опытный, добрый страдалец, улыбаемый играм детей. С Клашей он не сошелся, но Дарье Владимировне оказывал много внимания. Они тихо беседовали в небрежных позах на диване, а мы с Клашей не прочь были посмеяться над ними.

-- Может, это грех, -- говорила Клаша, -- только мне все кажется, что он вовсе об матери не грустит...

-- Знаешь ли, -- отвечал я, -- мне то же кажется! Мы робко поглядывали друг на друга и смеялись.

-- И зачем это он отвертывает под вицмундиром такие огромные воротнички? Лицо такое худое, некрасивое, щоки такие длинные! Так гадко! -- прибавляла она с легкой гримасой презрения.

-- Не понимаю, -- говорил мне со своей стороны Модест, -- что ты нашел особенного в

этой булке. Чорт знает, что такое! Я ведь ее насквозь вижу. Хитрит и подтрунивает, а посмотрела бы на себя! Я встречал такие характеры и знаю им цену. Язвить очень легко...

Однажды, вспомнив старые распри, барышни заспорили. Даша ходила по комнате и была вне себя; Клаша сидела, бледнела и улыбалась. Спор шел о ревности.

-- Я никогда не унижусь до того, чтобы показать свою ревность; я слишком гор-р-р-да! -- воскликнула Даша.

-- Вы, вы? А помните, как даже к женщине меня ревновали, помните?

-- К женщине скорее! Мужчине всегда надо меньше показывать, чем чувствуешь. Бегать за мужчиной -- это унижение!

-- Ах, полноте, Даша! Терпеть не могу, как вы начнете брать на себя. Вы воображаете, что вы никогда не унижались! Вы очень часто унижались!

-- Когда-с? Потрудитесь объяснить, когда. Вот вы так подобострастны всегда с знатью. Как скоро какой-нибудь человек из beau monde, так вы и растаете. Клаша покраснела.

-- Ну что ж? Признаюсь, к знати я всегда

имею слабость и всегда буду иметь. Богатство, чины, красота -- это все не так мне нравится как имя... и такие манеры. Я про это и не говорю; я говорю про мужчин, которым вы всегда готовы покориться.

-- Где вы видели этому пример? Что вы улыбаетесь?.. Ваша злость ничего не доказывает.

-- Уж пожалуйста не требуйте примера! Вам будет неприятно: ведь я вас знаю... Модест в эту минуту вскочил, грозно согнувшись подбежал к Клаше и, пронзив ее взглядом, закричал на весь дом:

-- А я вас, сударыня, вижу насквозь! Клаша немного испугалась, не скоро оправилась и отвечала:

-- Что это вы? Я разве с вами говорю?

-- А я хочу с вами говорить, и вы будете меня слушать.

-- А если я не хочу?

-- А! Значит вы боитесь. Нет позвольте!

-- Что вам нужно?

-- Я хочу доказать вам, что нрав ваш отвратителен. Вы обвиняете m-lle Dorothee, а сами как вы поступаете с ней? Когда вам нужно ку-

да-нибудь ехать и у вас нет каких-нибудь туалетных финтифлюшек, вы сейчас подделываетесь к ней, начинаете с ней говорить дружелюбно до тех пор, пока она вам нужна. А после огорчаете ее вашими несправедливыми насмешками. Вы даже, я знаю, вздумали надомной смеяться... Но предупреждаю вас, что я вас отбрею так, как вы и не ожидаете. Клаша в негодовании встала. Даша, отдыхая, опустилась в кресла. Модест величаво отступил к дверям.

-- Пустите меня к двери; я хочу пройти, -- сказала Клаша. -- Конечно, я в чужом доме, вы можете меня обижать.

В эту минуту Ольга Ивановна быстрыми шагами вошла в гостинную, остановилась и всплеснула руками.

-- Mesdames! Что это? вы точно пуасардки. *Fi, comme c'est vilain!* Вы только подумайте, как бы это -показалось тем мужчинам, которым вы желаете нравиться. Я жалею о ваших будущих мужьях!

Сказав это, пожилая девица красиво запахнулась в свою шелковую мантилью и вышла в зал. Модест грустно опустился в кресло око-

ло Даши. Клаша убежала к себе, а я пошел беседовать с Белинским, Бюффоном и другими учеными и мирными моими друзьями в мой несравненный поэтический флигель.

-- Займусь часок-другой, -- думал я, вздыхая, -- а там, Бог даст, Катюша завернет. С ней что-то веселее!

Заступничество еще более скрепило дружбу Модеста и Даши. Они продолжали полулежать по разным углам и даже раза три уходили вдвоем на один пустынный бульвар, который был недалеко от нас. Тетушка начала беспокоиться и, предполагая, что они влюблены друг в друга, хотела запретить им эти прогулки, но Даша сказала о ей:

-- Я хожу для моциона и мне не с кем ходить...

-- Ах, матушка! что у тебя от него моциону, что ли, прибавится! -- воскликнула тетушка и приказала брать с собой Платошку или Дормедонта; а если все мужчины заняты, так хоть девушку, которая должна, не показывая вида, что провожает их, сидеть где-нибудь на лавочке во время их прогулки. Не раз случилось, что маленькая Матрешка, в длинном ва-

точном шушуне, зябла на дальнем конце бульвара, пока они предавались мечтам.

Но недолго продолжалась поэтическая дружба Модеста с Дашей. На Святках стал Модест уже не так задумчив. Он весело спорит, смеется иногда, напевает романсы. Он ходит и ездит к прежним знакомым своим, к Фредовским и Пепшиковским. Фредовские живут в Садовой, за красивым палисадником, и там есть дочка лет семнадцати, Нина, немного рыжеватая, но свежая и причесанная дома а la chinoise. Пепшиковские живут далеко, в Замоскво-речьи, но у них танцуют под фортепьяно и за ужином всегда подают соус из теревей с вареным изюмом. Модест любит рассказывать про своих добрых знакомых, и за вечерним чаем в зале только и слышно: Нина Фредовская, Полина Пепшиковская.

-- Как это ему не стыдно, -- говорит Клаша, -- беспреостанно повторять такие фамилии! При чужих я всегда боюсь за него, что он вдруг сейчас скажет. В Нине он хвалит наивную откровенность и говорит с сожалением, что едва мог удержатъ страстного ребенка от переписки с собой; в Полине ему нравится

способность к живописи и замечательная физическая сила: по его словам, она подняла раз в сенях такой ушат с водой, который иные мужчины насилу сдвигали с места. Он был два раза в театре и говорит, что глупо со стороны людей хорошей фамилии стыдиться звания артиста, человека, который в живых образах передает нам борьбу людских страстей. Шесть лет тому назад он видел Каратыгина в "Гамлете" и знает много сцен наизусть.

Все просят его декламировать. Он соглашается и предлагает Даше сесть посреди комнаты на стул. Она будет королева, он Гамлет. Даша не в духе с утра. (Я после узнал от Модеста, что она давно сбиралась опровергнуть на деле обвинение Клаши, твердо запрещала Модесту ходить к Фредовским и взяла с него честное слово, что он не пойдет. Но Модест сострил: он взял извозчика и поехал к Нине).

-- Терпеть не могу представлять из себя какие-нибудь штуки, -- шепчет Даша томно, вяло встает и садится посреди комнаты.

Модест бежит в девичью, достает себе бархатную мантилью, отпарывает от черной летней фуражки козырек и надевает ее вместо

берета. Тетушка выходит из гостиной и занимает место на угловом диване; Ольга Ивановна оставляет работу; мы с Клашей смотрим на дверь. Настает молчание.

-- Что же это? -- восклицает вдруг Даша. -- Я встану!

-- Сидите, сидите!

Дверь из коридора отворяется, и Гамлет входит; мантилья на одном плече; берет немного надвинут на ухо. Взгляд его суров, руки скрещены на груди. Выставив подбородок, мерными, тяжелыми шагами и несколько боком подходит он к матери... останавливается, молчит, потом глухим басом:

-- Что вам угодно, мать моя, скажите?

Даша глядит на него; Модест торопливо шепчет: "Гамлет, ты оскорбил меня ужасно!".

-- Ты оскорбил меня ужасно! -- произносит Даша с живым упреком в глазах. Но Модест не замечает этого взгляда: артист проглотил человека. Он наклоняется к ней, дрожит и бесшумно шепчет:

-- Мать моя, отец мой вами оскорблен ужасно!!! В эту минуту в дверях показывается куча горничных и сам Степан из буфета с по-

лотенцем в руке.

-- Ах, сколько народу! Я не могу! -- С этими словами Даша вскакивает, Гамлет закрывает лицо руками и топает ногой.

-- Сядьте, сядьте! -- просим мы все. Он опять уходит, притворяет дверь и возвращается снова.

-- Что вам угодно, мать моя, скажите?

-- Ты оскорбил меня... Ну как это там, все равно... Модест вне себя.

-- Что же это такое? так невозможно играть! Эх вы! У вас вовсе нет сценического таланта.

-- Не всем же иметь ваши таланты, -- отвечает Даша. -- Актер! -- произносит она потом вполголоса и гордо уходит.

Горничные расступаются перед ней; Гамлет в берете и мантилье с бессильным презрением глядит на опустелую дверь.

-- Окрысилась! такие характерцы нам Бог послал! -- замечает тетушка, махнув рукой. -- Пойти-ка свой камушек докончить.

На другой день между Модестом и Дашей было тайное объяснение, которое еще более рассорило их.

Пока двоюродный брат мой тратил свою энергию на распри с нашими домашними девицами, я по-старому втихомолку встречался с Катюшей, но она говорила все то же.

Я негодовал и жаловался тоскуя Модесту, что мне ни в чем нет успеха.

-- Рано еще! Потерпи, Володя. Случая нет, уменья мало. Можно ли думать, чтоб такой молодой человек, как ты, прожил бы без успехов? Лесть услаждала мою слабость, и я решился ждать. Но Модест не ждал, а действовал, не сообщая мне сначала ничего.

Однажды все были у обедни; я читал в зале у окна; Катюша отворила дверь из коридора и, показывая яблоко, которое ела, сказала:

-- Видите, вы все говорите, что я вас любить не хочу, а я вот ем яблоко ваше. Вы его обгрызли и бросили в девичьей, а я его ем. Вы вашему братцу любезному скажите, чтобы он ко мне не приставал. Даром что чужой барин, а я все равно тетеньке скажу, как есть на него прямо. Этакой сумасшедший, на лестнице вдруг вчера схватил целовать!

-- Ты была очень рада, я думаю? -- сказал я с го-речью.

-- Вон радость-то нашли! Он нехорош! Губастый такой, долговязый; лицо весноватое! Ну-с, до свидания-с!

Прощенья просим! Не взыщите на нашей деревенской простоте-с! Я говорил об этом Модесту, а он стал смеяться и признался, что хотел тоже испытать счастья, да видно она в самом деле строга и недоступна.

-- А славная девушка! -- прибавил он.

XII Великий Пост. На улицах тает. Модест ходит на лекции и готовится к выпускному экзамену. С Дашей он уже не сидит ни в столовой под окном, ни в угольной комнатке, где по вечерам горит малиновый фонарь. Даша ходит по зале с видом человека, способного нести одиноко ношу самого страшного горя. Она курит, гордо поднимая голову, неприятно поджимая губы, чтоб не мочить папиросу, и бросает на всех нас искоса взгляды мимолетного презрения. Особенно вид ее величав и грустен и лицо ее бледно, когда она выходит к обеду в черном пу-де-суа с ног до головы. Она сама даже говорит: "Я посвящаю себя навсегда черному цвету!". Потом опускается в глубокое кресло, качается на нем и шепчет

томно: "Мне кажется... у меня спинная кость атакует".

-- У княжны Тата, кажется, тоже болела спина? -- спрашивает Клаша. Дарья Владиміровна забывает боль в спине, вскакивает и, стиснув зубы, уходит из комнаты. Вечером я сижу у себя один во флигеле и читаю. Вдруг дверь в прихожую растворяется с шумом, портьера откинута, и передо мной высокая, бледная женщина в черном платье! Она решила вырвать из груди всякую нежность, любовь, жизнь, вырвать, кажется, самое сердце. Никто ей не нужен более! В руках ее два дагеротипа: на одном светло и смело смотрит Модест в расстегнутом вицмундире, на другом Клаша, пышно и не к лицу причесанная, в клетчатом платье. Даша не глядит на меня; она молча ставит портреты на мой стол и быстро уходит, не сказав ни слова. Но слов и не нужно было: я понял ее!

Приходит Модест; увидев портреты, он хочет, валяясь по дивану, и говорит: "Умру, умру!".

Я хотел было сказать: "как ты скверно хочешь!", но вспомнив, что деревня его про-

дана с публичного торга, что отец его был обижен Петром Николаевичем и моим отцом, что он некрасив и принужден ухаживать за Ниной Фредовской и Pauline Пепшиковской, промолчал.

И с Клашей прервала все и навсегда злопамятная брюнетка. Но в конце поста, проходя по коридору большого дома, я слышу в комнате Клаши громкое чтение. Прислушиваюсь...

Что-то из "Графини Монсоро". Ольга Ивановна встречает меня в зале.

-- Вы слышали? -- спрашивает она.

-- Что такое?

-- Это чтение. Каково? Есть ли в ней хоть на волос самолюбия, в этой племяннице, которую послал мне Бог? Клавдия Семеновна полюбезничала с ней, потому что ей занудился чтец, и она теперь надсаживается там.. Какое отвращение! Теперь за Ольгой Ивановной очередь бросать презрительные взгляды на девиц; но на пятой неделе поста дела принимают иной оборот. Приезжает из Петербурга г. Теряев. Он бывший товарищ брата по полку, недавно вышел в отставку и жил в имении отца своего верст за 500 от нас. Те-

перь отец дал ему 200 душ в шести верстах от Подлипок; он провел зиму в Петербурге и привез письмо от брата. Тетушка плакала, читая это письмо; я застал ее еще в слезах; глаза ее были тусклы, нижняя губа опустилась, руки как-то беспомощно висели на ручках кресел. Ольга Ивановна стояла около письменного стола и считала новые радужные ассигнации, вынимала их из папки и разглаживала рукой... Я бросил взгляд на них и подумал: "Сколько? Одна сотня, другая, третья, десять, двадцать сотен. Что же это такое?".

-- Вот, дружок мой, полюбуйся на письмецо! -- говорит тетушка: "Ma tres chere, ma adorable tante! (пишет Николай, тот самый Николай, который называл ее год тому назад несносной ханжой! Легкое, но неприятное чувство стыда мелькает у меня в душе. Не зная ему тогда имени, я однако не забываю его и продолжаю читать).

"К кому обратиться мне в несчастьи, как не к вам? Скажу откровенно -- я проигрался. Низкая женщина, которую я имел нечастье полюбить всеми силами моей души, бросила меня. Она блаженствует теперь, но не надол-

го. Я неумолим во мщении! Я отыщу ее на дне морском! Теперь ее нет в Петербурге: она за границей с старым своим волокитой, который известен здесь как дурак и отъявленный шут. О, ma tante! мне нечего говорить вам, как я несчастлив. Вы знаете сами, что я должен был продать свое рязанское имение, и этот новый долг сводит меня с ума. Летом я надеюсь отдохнуть в милых Подлипках".

-- В милых Подлипках! Он не совсем еще растратил душу... -- подумал я. Деньги (4.000 р. сер. ) отосланы на почту. Теряев ездит к нам часто и употребляет все усилия, чтоб утешить тетушку и примирить ее с братом. Тетушке не нравится его бледное, изношенное лицо, его густые бакенбарды, выдавшийся подбородок и плоский нос.

-- Такая адамова голова! -- говорит она с досадой, но слушает его рассказы про брата и верит его почтительной лести.

-- Поверьте, Марья Николавна, он обожает вас! -- уверяет Теряев.

-- Добр-то он добр. У него всегда было золотое сердце, самое чувствительное сердце, -- отвечает тетушка, задумчиво постукивая та-

бакеркой. Мне Теряев казался отвратительным. Если брат мой, почти красавец и цветущий мужчина, добродушный и любезный, мог наводить на меня ужас своими ночными поездками куда-то, небрежными отзовами о понедельничьи и постах, своими бесстыдными песнями, то каково же было слышать то же самое от адамовой головы? Он был гораздо образованнее брата, отлично говорил по-французски, немного по-немецки и благоговел перед гнусным Штраусом. Я затыкал уши и просил его молчать, когда он приходил во флигель и начинал излагать передо мной и Модестом свою энциклопедию.

-- Вы молоды, господа, признайтесь, что вы молоды! Вы еще белый блох, а не черный, прыгать не умеете!

-- Мы гордимся такой неопытностью! -- возражал Модест, поднимая глаза к небу и улыбаясь искренно, вдохновенно.

Я жал ему руку. Но не всем Теряев кажется адамовой головой. Ковалевы на эту зиму еще не переходили к нам: они живут на своей квартире и жить умеют не совсем дурно. Гостиная у них уютная, голубая; много недоро-

гой мебели, на столах и стенах много гипсовых бюстов и небольших статуй на красивых подставках; есть и ковры, и рояль порядочный в столовой, и книги, а главное -- много простоты и веселости. Сам Ковалев не веселит никого; он умеет только зарабатывать деньги и никому не мешать. Теперь он в статском платье, сбрил усы и стал еще моложавее, женоподобнее прежнего; но взгляд его так же сух и серьезен; он переменял службу и работает все утро до четырех часов. Бледная Олинька царствует дома. Она сзывает гостей, угощает их во всякое время чаем и кофе, у нее можно сидеть, танцевать и дурачиться до двух часов ночи. Она любезна со всеми, и ей можно привести кого угодно -- графа, военного, лекаря, инженера, актера, учителя -- лишь бы он не был слишком скучен. Все у нее как дома, непрошенные садятся за рояль, поют, танцуют, любезничают; она на всех смотрит пристально и томно, беспрестанно курит и делает резкие, проницательные замечания: "Вы никогда ни на чем не остановитесь в жизни, я вижу это по глазам". -- "Вы должны быть очень влюбчивы".

-- "Вы не пишете ли стихов?" и т. п.

Даша очень дружна с ней Великим Постом и часто, выпросив человека, проходит с ним мимо моего флигеля в новой шляпе, с муфтой, в шолковом салопе, распустив локоны; походка ее весело волниста и движения игривы, как походка и движения счастливой и блестящей женщины. Черное пу-де-суа висит в ее спальне. Однажды она подходит ко мне и, приветливо улыбаясь, берет за руку.

-- Не сходить ли нам к Ковалевым? Погода славная... Приходим. Теряев уже там, и Даша садится за рояль.

Поет один романс, поет другой и поет великолепно, помогая себе и глазами, и легкими движениями стана, то лежит грудью на пюпитре, как будто она близорука, то откидывается назад, призывая всех к жизни и наслаждению. "Лови, лови часы любви!.." И Теряев, следуя ее совету, уходит с ней в кабинет хозяина. Теряев либерал; он говорил, что крестьян необходимо освободить, еще тогда, когда одним это казалось бредом, другим мечтой, несбыточной по самой высоте своей, идеалом вроде вечной, страстной любви, или

бедного, но честного русского гражданина.

-- Что такое народ? Народ -- машина, грубая масса, -- сказал однажды Ковалев, презрительно махнув чубуком.

-- Нет, народ не машина, -- возразил Теряев. И, сказавши это, он так выразительно передернул бровями и мельком взглянул на моего прежнего Аполлона, что "адамова голова" озарилась вдруг передо мною минутным лучом самой высшей жизни.

-- Нет, народ не машина, -- повторил он еще теплее, -- вы знаете, что сказал Гизо: "Здравый смысл есть гений толпы!".

-- Вот какие он вещи говорит! -- подумал я. Хотя я знал только, что Гизо -- Гизо; но, вспомнив, что в "Иллюстрации" я видел рисунок медали, на которой были представлены головы и руки, простертые к маленькому человеку строгого вида на кафедре и во фраке, с надписью: "On peut epuiser ma force, mais on n'epuisera jamais mon courage!.", вспомнив это, я извинил Даше ее легкомысленную ходьбу с локонами мимо моего флигеля. Они часто спорили при мне с Ковалевым. Ковалев не любил стихов; признавался, что не пони-

мает ни Фета, ни Тютчева, ни антологических пьес Майкова и, подло сторбившись, как и следовало человеку, непонимающему стихов, восклицал:

— Ох уж мне все эти охи да ахи! Пора бы бросить это да заниматься делом! Ни слова не возражая на это, Теряев прочел наизусть "Тройку" Некрасова с таким искренним одушевлением два раза сряду, что у меня мороз пробежал по спине, когда он доходил до слов:

Не нагнать тебе бешеной тройки! Кони сыты, и крепки, и бойки, И ямщик под хмельком, и к другой Мчится вихрем корнет молодой. После этого Теряев стал для меня своим человеком. Были минуты, в которые я даже не мог удержаться от улыбки легкой радости, когда он входил в комнату. Но в апреле, после святой, тетушка тронулась в путь с тремя девицами. Мы с Теряевым провожали их до первой станции на почтовой тройке в телеге. Он рассказывал мне о своей деревне, которая всего шесть верст от Подлипок, о том, как он умеет жить и как он будет угощать меня самым лучшим запрещенным плодом, и прибавил:

-- У меня, батюшка, там такое древо познания добра и зла, что вы, отец, целый месяц облизываться будете. Superfine.

Древо познания добра и зла напомнило мне об адамовой голове, и я невольно улыбнулся. Он принял это за Улыбку ликующего заранее воображения и, с жаром схватив меня за колено, продолжал:

-- Да-с, упою вас самой квинтэссенцией! Я люблю вас. Если б не ваше бабье воспитание, так вы были бы отличный малый. Да я вас переделаю. Я был уверен, что переделка не удастся, потому что под словами "бабье воспитание" он понимает, вероятно, самые заветные мысли и чувства мои, которые я любил и лелеял, как самые нежные, изящные цветы моей жизни, и только по врожденной неосторожности и детской суетности выставлял напоказ, всегда с внутренним упреком и болью. Но слова "я вас люблю" действовали сильно. Соединив их с воспоминанием о Гизо и волосах, откинутых за пылающие уши, я готов был сам полюбить его. Случай спас меня. На встречу ехал обоз.

-- Сворачивай, сворачивай, чорт возьми!

Передний мужичок спит ничком на телеге. Еще мгновение -- и кнут в руках Теряева. Ни одного не пропустил он так, задел хотя слегка или по крайней мере заставил откинуться в сторону. На возвратном пути я отвечал ему только да и нет; он поглядел на меня пристально и угадал в чем дело.

-- А! вы не любите этого! -- воскликнул он смеясь, -- это правда; теперь оно скверно, но вот надо отпустить их всех и тогда можно будет тешиться. Это уже будет отношение одной свободной личности к другой... XIII

Незадолго до моего отъезда в деревню, я ехал однажды в пролетке по Кузнецкому Мосту. Вдруг смотрю, идет высокий мужчина в черном пальто и серой шляпе, под мышкою зонтик. Вглядываюсь: это мой спаситель -- Юрьев!

-- Стой! Стой!

Долго не забуду я выражение радости на его бледном лице. Он сказал только: Володя! -- и протянул мне руки. Мы сели в пролетку и не расставались до полуночи. Все было перебрано, пересказано; был и смех, была и невестелая беседа. Юрьев жил в Хамовниках, в

красном домике с желтыми украшениями, у разбогатевшего чиновника и занимался его детьми. Ему не хотелось поступить на казенный счет в университет, а на свой без работы он не мог. Я стал звать его в Подлипки, но он заметил, что подлипки не мои, "да и куда-де мужику в ваши антресоли забираться!"

-- Почему же антресоли? -- спросил я смеясь. -- Полно, поедем!..

-- Посмотрите, -- отвечал он, -- у нас и перчаток нет. И сейчас сымпровизировал: С голыми студент руками И с небритой бородой Принужден был жить трудами У чиновника зимой...

Дальше помню только игру слов "аристократ" -- и "ори-стократ". И, несмотря на все мои мольбы, он остался непреклонен.

В день отъезда он пришел провожать меня, был серьезен, говорил мне: "Вернись же, Володя, скорее! при тебе все теплее". Но в ту минуту, когда я занес ногу на подножку тарантаса (Модест уже сидел в нем), он спросил: -- "Позвольте мне всегда звать вас "Дон-Табаго"?"

-- Хорошо, зови, -- отвечал я, не обижаясь

слишком, но все-таки поморщился и прибавил: "Что за бессмыслица! "

-- Он грубоват и, должно быть, эгоист, -- заметил Модест, когда Юрьев скрылся из глаз.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ I

Давно уже Подлипки не были так оживлены, как в последнее лето перед моим студенчеством. Со всех сторон съехались гости. Модест кончил курс, и мы выехали с ним из Москвы в июне. Вслед за нами приехали брат и Ковалевы. Теряев был тоже в своем имении и начал ездить к нам беспрестанно. Утром от 9 до 12 часов не снимали со стола скатерти, самовара, кофейников и чашек. Кто придет раньше, кто позднее. Позднее всех приходили брат и м-м Ковалева. Все шумели, спорили, смеялись, рассказывали. До трех часов рассыпались куда попало; всякий выбирал себе общество по вкусу; образовались небольшие кружки: после вечернего чая все ходили гулять пешком в поле или ездили верхом, в таратайке, в телеге, в беговых дрожках. Наши барышни, Ковалева и брат большею частью были вместе; сидели на антресоли у Клаши или шумели при тетушке в гостиной; Кова-

лев бродил по дому с трубкой, читал газеты тетушке и Ольге Ивановне или беседовал с капитаном, который в свободные минуты нередко приходил к нам, несмотря на жар, в форменном сюртуке без эполет и в высокой разлатой фуражке. Его Февроньюшка беспрестанно гостила у нас. Мы с Модестом на этот раз поселились для простора в старом флигельке с изломанной печью и полинялыми обоями. Он стоял на заднем дворе, и перед окнами его был красивый широкий огород. Мы часто читали там с Модестом или разговаривали; уходили вдвоем в сад и в рощу. Сначала не было заметно никакой враждебности между нами и остальным обществом. Модест иногда, впрочем, скажет, уходя из гостиной, где все вместе рассказывали анекдот, смеялись и пели:

-- Какая скука! Что за деревянное лицо у этого Ковалева! Сидит как кукла целый день с трубкой; а у жены такое выражение лица, что ее не следовало бы в порядочный дом пускать. Брат твой фат; он на весь мир смотрит как на орудие своих наслаждений. Аза в глаза не знает и кутит в Петербурге! Эта худая Да-

рья Владиміровна сидит в углу с своим чахлым Теряевъш... Что тут хорошего? Два скелета, две голодные кошки любезничают друг с другом! Одна только и есть порядочная душа, это Клавдия... Она по крайней мере не глупа. Я не соглашался с ним и возражал ему искренно:

-- К чему это разочарование? Я, признаюсь, не понимаю Байрона. Все это вздор!. Надо уметь быть счастливым. Надо быть твердым и положительным... пользоваться минутой. Все это ходули и румяна. Доброты и простоты нет -- вот что! К чему Жак у Занда бросился в пропасть? Из-за какой-нибудь женщины? Разве нет других? Жак был очень умен в теории, но практически он был глуп. Говоря так, я иногда стучал кулаком по столу и выходил из себя от досады на людей, не понимающих всю прелесть жизни.

-- Ты судишь как богатый матушкин сынок. Тебе все улыбается, -- отвечал Модест. После этого мы становились на сутки, на двое суше друг с другом. Брат тоже делал иногда какие-нибудь замечания насчет Модеста, тоже за глаза.

-- Что это у м-сье Модеста за привычка носить на Шее носовые платки и при всех ходить в таких клетчатых Шароварах, которые порядочный человек только по утрам ПОД халат надевает?

Или:

-- Давно что-то Модест Иваныч не рассказывал о ^редовских, Пепшиковских, Филипповских... Владим1р, ТЫ знаком с этими Филипповскими?..

-- Филипповских нет вовсе...

-- Ну, все равно... Как их там, его аристократия-то? Но брат говорил все это без злобы; а у Модеста лицо

искажалось от радости, когда он успевал что-нибудь подметить. Один раз только вышла ссора посерьезнее. Мы все пошли гулять в поле и встретили крестьянина с возом сена. С нами были братнины борзые; за одним из возов бежала дворняжка среднего роста. Увидав борзых, она бросилась сперва под воз, потом выскочила оттуда и побежала полем к деревне. Борзые за нею. Барышни закричали: "Ах, Боже мой! разорвут!" Но брат захохотал и начал травить: "ату его! ату его!" Борзые на-

скакали, собачка завизжала и покати́лась, вырвалась; опять на́скакали, опять покати́ли ее; опять она вырвалась...

-- Эх! -- сказал Кто-то около меня тихо. Я обернулся. Хозяин собаки, снявши шапку, стоял около воза и жалобно смотрел туда. Выразить не могу, что я чувствовал в эту минуту. Даша и Клаша кричали: "Отбейте, отбейте ее! Они ее растерзают!" Олинька, муж ее и Теряев смеялись над ними. Мы с Модестом бросились отбивать. Собачке вырвали клочок мяса из боку и искусали заднюю лапу: хро́мая и визжа, ушла она на деревню, а борзые вернулись к брату. В это время подошел к нему Модест.

-- Это свинство! -- сказал он, бледнея.

-- Почему это, позвольте узнать? -- спросил брат, вежливо склоняясь к нему.

-- Потому что... Это понятно!.. Что тут (Модест задышался от гнева) у мужика...

-- А! -- воскликнул брат, -- понимаем! Это гуманность, -- прибавил он немного в нос.

-- А? это гуманность! Так ли я произношу? Pardon!.. Я ведь человек не ученый... Модест посмотрел на него с презрением и покачал головой.

-- А если б хозяин этой собаки да вас бы кнутом хорошенько или лицо бы вам все разбил?

Глаза у брата помутились; он схватил Модеста за руку и прошептал:

-- Как? мужик? Да я бы его туда запрятал, куда ворон костей не заносит! -Послушай ты, -- продолжал он, обращаясь к мужику, который между тем побрел за своим возом, -- ты как смеешь водить собак, когда господа ходят гулять? Мужик поклонился.

-- Я, батюшка, Николай Александрыч, не знал, что вы изволите гулять. Брат остыл.

-- Ступай, -- сказал он, -- вперед чтоб этого не было. Мы ушли с Модестом домой. Остальные продолжали прогулку. Но скоро новые впечатления заставили забыть историю бедной собачки. II

Самой любимой *partie de plaisir* нашего общества были прогулки пешком в Лобаново, к Копьевым. Лобанове от нас всего полторы версты. Через деревню протекает ручей; есть березовая роща за овинами; много больших лугов; а домик капитана покрыт соломой и стоит за ракетами на склоне горы. У капита-

на есть небольшой сад. Теряев там часто гулял с Дашей по вечерам, уходил с нею в поле далеко. Клаша хохотала в углу с Февроньюшкой, а мы с Модестом слушали рассказы капитана о его походах, о том, как девки любили их в Украине, как они раз с воём провожали полк, так что их палочьем солдаты вернули Домой. Иногда все вместе играли в горелки, в четыре угла, пели хором, танцевали под капитанскую гитару. Модест, впрочем, часто оставался дома или уходил Прежде других домой. Ревность грызла меня иногда, но

Катюша была мила со мной, повторяла старые обещания, и я верил ей. Однажды молодежь наша ужасно расходилась в Лобанове. Олинька Ковалева отлично умела представлять и передразнивать. Она то рассказывала про одного барина, который был влюблен в нее и говорил ей басом: "я с этого дня с вами на другой ноге"; то представляла, как такая-то старая девушка танцует мазурку и хохочет в такт от радости. За ней поднялся Теряев; он тоже был мастер на эти дела; мы все просто задыхались и плакали от смеха. Модест долго был задумчив, но вдруг и он вздумал выйти

на сцену, сел посреди комнаты и стал представлять какого-то учителя. Больно было смотреть на него, голос его дрожал, он забывал даже, что нужно говорить, тянул... все из учтивости улыбались. Наконец он вскочил со стула, захохотал один и, вскрикнув: "Преуморительная была фигура!", вышел вон и скрылся.

Немного выждав, я поспешил домой; я полагал, что он страшно страдает. Во флигеле его не было; я пошел в сад, но, увидав издали на сажалке розовое платье Катюши, забыл о нем и бросился к ней.

Катюша мыла какие-то воротнички, присевши на плотике, и пела вполголоса очень грустно: Ты поди, моя коровушка, домой. Я раздвинул лозник. Вообразите мое удивление, мою досаду: Модест лежал под кустом. Он улыбнулся как счастливый соперник. Катюша обернулась, засмеялась тоже и сказала:

-- Ну! все притащились!

-- Ты будто и не рада? -- неосторожно спросил Модест. Катюша сурово посмотрела на него.

-- Уж пожалуйста! Скучно слушать даже...

Мало я вас отсюда гнала. Об одном вас прошу: отстаньте от меня. Вы все лезете ко мне, а не я к вам. Мне, может быть, целый день от одних людей покоя нет, все ко мне с вами пристают. Чорт знает, что плетут... Рада! Есть чему радоваться, скажите пожалуйста! Какую радость нашел!

-- Ну, матушка, понесла ахинею! -- возразил Модест, с пренебрежением взглянул на нее и встал.

Мы вышли с ним из лозника.

-- Груба! -- сказал Модест, -- не будет из нее толку!..

-- Какого же ты хочешь от нее толку?..

-- А ты?

-- Я? Я бы желал только иметь ее любовницей...

-- И ты находишь подобное желание нравственным?

-- Года через два я буду в состоянии обеспечить ее...

-- Нет! -- продолжал Модест, и лицо его прояснилось, -- я не так понимаю нравственность. Ах, если б я мог всех судить по своему благородству!..

-- Для чего же ты уходишь рано из Лобанова или остаешься здесь, когда мы идем?

-- Делай свое дело, -- отвечал он, -- а я свое. На чьей улице будет праздник, увидим после. Я не сержусь на тебя, и ты не сердись... Такое условие было в моем вкусе, и мы остались друзьями. Но мне противна была настойчивость: я находил ее унижительным делом; то по целым неделям не говорил с Катюшей, то, собираясь остаться вечером в Подлипках и мешать Модесту, не мог устоять против улыбки брата и его голоса, когда он говорил мне:

-- Ну, ну, бери фуражку! Едем к Теряеву. Или:

-- Володя, что ж ты в Лобанове с нами?

А Модест шел своей дорогой, и хоть многие замечали, что у него есть что-то с Катюшей, хотя сама тетушка сделала ей выговор за то, что она мало принесла грибов из роци, и прибавила даже: "не грибы на Уме, мать моя, не грибы!", но скандала не было еще никакого.

Ковалев уехал в Москву, обещая вернуться в половине августа за женой. Без него еще стало заметнее, что брат ухаживает за Олинь-

кой. Даже и я, неумевший тогда ничего подзрывать, начал обращать на них внимание. Модест, который был и опытнее, и меньше занят собою, чем я, и тут пособил мне.

-- Уехала кукла, -- сказал он, -- теперь лев наш потешится! И точно. Николай ходил гораздо чаще прежнего с Олинькой по зале и по саду; в рощах они старались удаляться от других; вечером на балконе просиживали по целым часам вдвоем, и все остальные старались не мешать им, уходили с балкона, не вмешивались в их разговоры. С другой стороны, Теряев все настойчивее и настойчивее увивался за Дашей, привозил ей ноты, книги, ездил с ней верхом в наших маленьких кавалькадах. Они часто все четверо удалялись в комнату Ковалевой, и мы слышали там смех и пение хором страстных или грустных романсов: "Когда все пирует и блещет вокруг" или "Что затуманилась, зоренька ясная". Ольга Ивановна не следила за племянницей, она надеялась на Теряева и говорила о нем так:

-- Мне кажется, что в этой голове сосредоточивается весь человек нашего времени! Клаша иногда принимала участие в этих сбо-

рищах, иногда сидела у себя наверху с Февроньюшкой, вышивала с нею вместе в пальцах бархатным швом великолепный дорожный мешок для брата и в часы отдыха ела с ней толокно и землянику со сливками. Мы с Модестом чаще бывали у нее, чем у Ковалевой.

-- Знаешь, -- сказал он мне однажды, -- Николай Александрович сегодня ночью в халате пробрался через девичью к Ковалевым.

-- Неужели?

-- Спроси у Катюши. Половицы скрипят в коридоре. Она проснулась и смотрит: крадется в туфлях и в своем львином халате. Надобно будет поздравить мосье Ковалева с куафюрой! А что бы брякнуть ему хоть письмецо: так мол и так?

-- Не может быть. У нее ребенок спит в комнате; девочка уж велика...

-- Э! пустое! Захотят, так девочка ничего не узнает. Уж не хватить ли письмом? Лицо его опять исказилось.

-- Нет, не делай этого. Ковалев хоть и маленький, а сердитый, как бы он не наделал чего-нибудь брату.

-- Не беспокойся! Дуэли не будет: все фан-

фароны, подобные твоему брату, серковаты.

— Перестань, ты уж слишком на него нападаешь. Что ты завидуешь ему, что ли?

— Мне и даром это привидение не нужно, — гневно возразил Модест, взял арапник и ушел в поле.

В течение нескольких минут он был мне противен; но часа через два после этого я случайно увидел его через садовый забор на лугу около рощи; опершись на забор, я долго смотрел, как он уходил не торопясь по дороге в орешник. Он шел, повесив голову, так одиноко, невинно и безвредно, твиновое пальто его было так не ново и не модно, луг так зелен и свеж, что я помирился с ним. Я рассказал Клаше про ночное приключение брата. Она ахнула, покраснела, но сказала, что не верит и что на сплетни этих горничных нельзя полагаться; но потом задумалась что-то и загрустила.

Между тем враждебность обозначалась все яснее и яснее. Брат называл нас с Модестом прямо в глаза министерством народного просвещения. Выйдем поутру к чаю, он раскланяется с нами, подаст нам обе руки разом и скажет:

-- А! министерство народного просвещения! Мне это не нравилось, но я улыбался, потому что не Мог устоять против его улыбки, которую мне бы хотелось Назвать цветущей улыбкой. Модест отвечал ему молчанием и презрением. Для ссор и разногласий было много случаев. Во всем мы расходились. Вкус, мнения, понятия -- все было разное. Поехали, положим, ко всенощной. Тетушка и Ольга Ивановна стали на обыкновенных местах своих в большой церкви. Наши девицы, м-м Ковалева и Теряев остались в заднем приделе нарочно, чтоб удобнее разговаривать. Сначала и мы с Модестом стояли около них; Теряев что-то шептал дамам, а те давились от смеха и закрывались платками. В приделе было мало народу, только изредка сильный взрыв смеха заставлял оборачиваться назад седого и сухого старика, который молился громко и усердно в темном углублении окна. Модест толкнул меня локтем и, показав на них глазами, покачал головой и сказал:

-- Отойдем к окну, туда, к старику. Я сначала не послушался, но когда брат, развалившись на кресле, за которым он нарочно посы-

лал старика, вынул из кармана какую-то книгу и начал читать громко то место, где отец и мать героини занимаются наверху мозолями, я тоже отошел от них. Теряеву и брату и этого было мало; под конец всеобщей они пошли в большую церковь, при всем народе серьезно и набожно становились на колени перед иконой, на которой лежал образ, крестились, падали ниц и прикладывались. Дамы едва-едва удерживались от смеха.

-- Стоит все это рассказать тетушке! -- заметил я Модесту.

-- Бог с ними! -- отвечал Модест, -- старухе будет больно, а мерзавцев не исправишь.

Капитанова Февроньюшка была очень смешлива, робка и добродушна. Испугать ее можно было всем: прыгнул вдруг кто-нибудь около нее, стукнул, ахнул из угла, тронул ее сзади -- довольно, Февроньюшка уже кричит благим матом. Стоит сделать гримасу перед ней или рассказать ей на ухо что-нибудь не совсем пристойное и забавное -- Февроньюшка и пошла киснуть и кататься. Брат любил ее или, лучше сказать, любил забавляться ею. Он при всех целовал ее насильно, звал ее вся-

чески: "Ховринька, Февра, Фебруар, Януар!" Играл с ней в карты, в фофаны, в дураки, в зеваки; если она проигрывала, он надевал на нее колпак из сахарной бумаги или кричал ей прямо в лицо, как будто зевая: "зев-а-а-ка, зев-а-а-ка". Раз в дождливый вечер вздумали мы вместе играть в зале в горелки, в жмурки, в четыре угла. Потом уже начали возиться и бегать как попало. Даже Модест разыгрался. Мы гонялись за дамами по всем комнатам; они прятались от нас в шкафы, за кровати. Тетушка и Ольга Ивановна сидели в зале, любясь на нас. Февронья села на пол за спинку тетушкина кресла и прикрылась концом оконной занавески. Брат вытащил ее оттуда и закричал:

-- А, Ховря, Ховря! вы смеете меня так мучить... Вот вам за это. И он толкнул ее к Теряеву, Теряев к нему, он опять к Теряеву... Ховря сначала смеялась, потом просила перестать, потом вдруг присела на пол и заплакала. Брат поднял ее и хотел поцаловать, но она отклонилась и тихо сказала:

-- Разве так шутят? Еще какие люди!

Закрылась платком и пошла к коридору.

Даша подбежала к ней, обняла ее и увела наверх.

Брат долго смотрел ей вслед и воскликнул: "Вот тебе раз! Каков Фебруар?" -- и, равнодушно напевая что-то, стал ходить по зале.

-- Напрасно, Коля, ты так неосторожен, -- начала тетушка... Но в эту минуту вышел из угла Модест и обратился к брату:

-- А ведь вы, Николай Александрыч, не сделали бы этого с княжной Н. или с графиней В.?

-- Что-с? -- спросил брат, собираясь, должно быть, с мыслями.

-- Вы слышали, что я сказал...

-- Что-с? княжна? Я полагаю, что здесь дело зависит не от княжны, а от понятий, от *maniere d'etre*... Поверьте, она все это простит и очень будет довольна мной...

-- А если б у нее был брат, который бы... -- закричал Модест громовым голосом и сделал движение рукою...

-- Ах, мать моя! -- воскликнула тетушка, -- как закричал!.. Что с тобой? Модест стоял бледный и зверски смотрел на брата. Брат был спокойнее; не вынимая рук из карманов,

он отвечал:

-- Тот, кто бы это сделал, не был бы жив. И ушел в свою комнату. После я узнал, что брат накануне предлагал Катюше деньги и золотую брошку; она отказалась от них и потом, когда проходила без нас с Модестом и без тушки через залу, брат при Ковалевой и девицах сперва заставил ее по-цаловать у себя руку, а потом подставил ей ногу так, что она растянулась как нельзя грубее и ушибла себе колено.

IV Февронья так оскорбилась, что на другой день ушла рано утром домой. За чаем все стали делать выговоры брату.

-- Во время шутки надо удерживать себя в границах, -- заметила Ольга Ивановна.

-- Она очень долго плакала, -- прибавила Даша. Клаша сказала, что не могла уговорить ее остаться;

Модест молчал, а я советовал брату сходить в Лобанове извиниться. Николай засмеялся и отвечал:

-- Теперь жарко, а ужо пойдем все вместе. Часов около восьми вечера привели Ховриньку из Лобанова; Николай шел с ней под руку

впереди всех.

-- Вот она сердитая Ховря! -- воскликнул брат, вводя ее в гостиную к тетушке.

-- Что это ты, мой дружок Ховря, вздумала капризничать? -- спросила тетушка, когда та подошла к ее руке. Ведь ты знаешь, здесь все тебя любят.

-- Да они-то не всех одинаково любят, -- заметил Теряев. -- Они обуреваемы страстью к одному...

Все захохотали... Ховря тоже засмеялась и покраснела... Брат пристал к ней:

-- Как? Как, Ховря? Вы влюблены?..

-- Ей-Богу, ей-Богу -- нет... ей-Богу нет! Это...

-- Значит я лгу? -- перебил Теряев, -- а наволочка?

-- Что, что? что такое наволочка? какая наволочка?

-- Не говорите! Ей-Богу! Ах! Василий Петрович... как это можно... Это неправда...

-- Позвольте, позвольте, -- продолжал Теряев, -- Февронья Максимовна сшила себе, Николай Александрыч, подушку из шолковой подкладки вашего старого халата, покрыла ее белой, самой белой наволочкой и ни за что на

другой подушке заснуть не может.

Все опять хохочут.

-- Ах, Ховря! Ах, Ховря!!

-- Неправда, ей-Богу, неправда... В это время Клаша с Ковалевой вошла в залу; я за ними; скоро и Даша с Модестом пришли туда же...

-- Как я не люблю, когда так пристают! -- сказала Клаша Ковалевой.

-- Вот сострадательная душа! -- воскликнула Ковалева, -- Ховря очень рада; она готова все перенести, чтобы только бывать здесь. Ты, Клаша, уж слишком чувствительна. А еще соперница!

Клаша вспыхнула.

-- Не знаю, кто больше соперница, вы или я!

-- Это почему же? Ковалева переменялась в лице.

-- Полноте, полноте! -- продолжала Клаша, -- все понятно, все видно... очень видно (я дернул ее за рукав).

Но у нее уже сделались те злые глаза, которых я не любил; она начала потирать и пожимать одну руку другой (у нее это верный признак сильного волнения) и продолжала:

-- Поверьте, я знаю и понимаю больше, чем вы думаете. Ковалева устремила на нее неподвижный, наглый взор, скаречно вытянула вперед свое поблекшее и правильное лицо и, помогая себе движениями рук, отвечала быстрым полушепотом:

-- Что вы? что вы хотите этим сказать? Вы думаете испугать меня? Нет, вы меня не испугаете! Знаю, знаю я. Вы хотите уверить всех, что я влюблена в Николая Александрыча, что он за мной ухаживает. Так что же в этом? Здесь тайны нет никакой. Я вольна делать, что хочу. Один муж может судить меня...

-- Что вы раскричались! -- возразила Клаша улыбаясь, -- Вы сами все сказали теперь.

-- Полноте, mesdames, -- заметила Даша. -- Что за ссоры! Fi, comme c'est vulgaire!

-- Я уж не знаю, что там vulgaire, -- грубо продолжала Ковалева, -- а я не хочу, чтоб она говорила вздор. Ну, можно ли так глупо смешивать позволительное кокетство Бог знает с чем!

Она махнула рукой и ушла. Модест все время ходил по зале и был, казалось, очень рад; он то жался к стене как человек, который бо-

ится, то подмигивал мне, то притравливал шопотом, то молча закидывался назад, схватившись за бока, как помирающий со смеха. Даша, напротив того, была очень недовольна.

-- Все от зависти ты это, Клаша... -- сказала она.

-- Ах! пожалуйста, вы не мешайтесь! -- возразила Клаша, -- вы все за одно! Теряев и Николай Александрыч помогают друг другу.

-- Интригантка! дрянь этакая! С этим словом Даша ушла за Ковалевой... Меня занимала тогда эта распря; без всякой горечи смотрел я на них; но на другой день дело приняло серьезный оборот. V

Сплетня дошла до тетушки. Мы с Модестом упросили Клашу еще раз побожиться, что она не выдаст Катюшу, и она сдержала свое слово при всех объяснениях, так что ясно ничего не было высказано о ночной прогулке брата... Но объяснения следовали за объяснением... Сперва объяснялись en tete-a-tete брат в саду с Ковалевой; брат вернулся угрюмый, крутил усы и, встретив меня, спросил: "Где эта толстая сплетница?"

-- Кто?

-- Клавдия Семеновна.

-- Клаша у себя наверху, -- ответил я кротко, -- не ходи к ней, Николай, пожалуйста... не брани ее. Она, право, тебя любит. Я хотел взять его руку, но он отдернул ее и сказал:

-- Нельзя ли без тандресс? Я до них не охотник. Ты об ней, впрочем, не беспокойся, я не стану вступать в объяснения с этакой горничной девкой! Даша вызвала Ольгу Ивановну на балкон и шепталась с нею; обе шептались с тетужкой в спальне. Модест пропал куда-то; я собирался тоже пошнырять где-нибудь по задам, в надежде встретить Катюшу у пруда или за людской и завести ее хоть на минуту во флигель. Вдруг слышу, меня ищут, зовут. Что такое?

-- Клавдия Семеновна просит вас к себе. Прихожу. Клаша с письмом в руке сидит у окна; глаза ее красны.

-- Прощай! -- говорит она мне, протягивая руку.

-- Что с тобой?

-- Вот письмо, -- продолжает Клаша, -- это к Марье Николавне... Читай... "Я вижу, что я в вашем доме лишняя. Здесь никто меня не лю-

бит, все пренебрегают мною; может быть я сама этому виной... мой неприятный характер. Я никого не виню и благодарю вас тысячу раз за все то, что вы для меня сделали... Вас, серже тапан, я никогда не забуду; но позвольте мне ехать к сестре. Там мое настоящее место. Я буду там жить небогато, но что ж делать! Всякому своя судьба..." Тетушка согласилась, и все стихли.

Было ли мне жалко расставаться с Клашей? Сначала нет. Я любил еще ее по старой привычке; но она судила иногда убийственно, и будь она еще во сто раз свежее, добрее к котяткам и щенкам, я все бы не простил ей многого. Еще недавно унизилась она в моих глазах похвалами Теряеву.

-- Он очень некрасив, но я понимаю, что в него можно влюбиться, -- сказала она, и ничем я не мог выбить из нее этого мнения.

-- Истаскан, бледен, худ, -- говорил я... Она отвечала, что румянец приличен только мальчишкам.

-- Дурно одевается: панталоны натянуты на штрипках и морщат кругом...

-- Женщины в такие тонкости вашего туа-

лета не входят.

-- Мужиков бил кнутом...

-- Да разве больно? Это он шутя...

-- Развратен.

-- Все мужчины такие... И ты сам... сколько раз я тебя встречала с Катюшей! Ну можно ли любить ее после этого? Поди объясни ей разницу между моими сношениями с чуть расцветшей, полудикой подругой детства и какими-нибудь происками бледного атеиста!

VI За день или за два до отъезда Клаши все смягчилось, повеселело; за вечерним чаем, вернувшись с прогулки, все много смеялись и разговаривали. Я смотрел на самовар, на тени знакомой формы на стене, смотрел на выразительное лицо брата, на Олиньку и Клашу, и мне становилось вдруг так жалко, так обидно за Подлипки, что все их покидают... Клаша по-старинному взглянула на меня пристально и улыбнулась; я думал -- она поняла меня, и вздохнул. После чая Ольга Ивановна села за рояль, и начались танцы. Брат канканировал; он был моим визави, а дамой

моей была Клаша. Он, как ни в чем не бывало, брал ее за руки, за стан, кружился с ней,

когда приходилось; мне казалось, что она была смущена. Когда кончились танцы, я вышел на балкон посмотреть на звездное небо и освежиться. Не успел я облокотиться на перила, как кто-то подошел и взял меня ласково и тихо обеими руками за голову. Я обернулся и увидел Клашу. Взгляд ее, обращенный к небу, казался выразительнее обыкновенного. Потом она прилегла к моему плечу; в первый раз позволила она себе такую сердечную ласку. Я обнял ее молча. В это минуту большой серебристый тополь, который стоит у нас в палисаднике перед балконом, зашевелился, зашумел вдруг как живой и смолк.

-- Прощай, прощай, Подлипки! -- сказала Клаша.

-- Не уезжай. Полно... Разве тебе моей любви не довольно?..

-- Твоя любовь -- не любовь, а дружба... Прощай, прощай, Подлипки!.. Модест вышел на балкон.

-- Уговори ее остаться, -- сказал я ему. Модест подошел медленно, нагнулся к Клаше, посмотрел ей в лицо и пожал ей руку.

-- Ты судишь так потому, что слишком мо-

лод, -- сказал он. -- Ехать надо во что бы то ни стало. Знаешь ли ты, что такое презрение к самому себе, к собственной слабости, Владимирф?..

-- Э! все это вздор! романтизм! Надо быть просто веселым...

-- Легко сказать! Нет, душа, это не романтизм; узнаешь ты и сам когда-нибудь обо всем этом. Видишь, она молчит? Клавдия Семеновна! (Клаша закрылась платком). Видишь, она лучше твоего понимает жизнь. Плачьте, но помните, что Бог нам дал волю! -- прибавил он и ушел.

Низенькая светло-лиловая комната на антресолях опустела... Кровать Клаши была без тюфяка; кисейные занавески сняты с окон; темная шифоньерка с медными кольцами и полосами пуста; только несколько обрывков кисеи и холстинок, старые башмаки и разбитая мыльница напоминали о Клаше. На стене осталась большая картина в старинной деревянной рамке -- огромная бородатая голова Леонида Спартанского в каске, над которой черным карандашом трудился когда-то брат, еще кадет.

Мы с Модестом только что проводили Клашу до первой станции. Мы ехали верхами около тарантаса; Клаша, спрятавшись в подушки, плакала. Старушка Аксинья провожала ее до города.

Последний раз привстав посмотрела Клаша с горы на сад и рощу: они слились уже в одну зеленую полосу.

Я стоял один в ее пустой комнате и глядел на Леонида, как вдруг вошла туда Ковалева.

-- Я тебя везде ищу, -- сказала она, -- а ты здесь грустишь. Пойдем-ка в сад... У меня до тебя есть просьба...

Никто не мог быть мне так противен в эту минуту, как эта наглая, бледная львица. Чувство мое было поругано ее приходом. Нечего делать, однако, -- подал ей руку, и мы пошли в сад.

-- Попроси тетушку, -- начала она, -- чтоб она уговорила твоего брата уехать отсюда... Это для его пользы. Мне самой, согласись, неловко... Приедет мой муж... Приятельница твоя наплела...

-- Разве он ревнив?..

-- И да, и нет... мы давно предоставили друг

другу полную свободу... Кто из нас первый был виноват -- Бог знает... Я кокетничала, он кутил исподтишка. Мы живем дружно, ты знаешь; но он ненавидит сплетни и скандал. И кто это любит, посуди сам? На него находят минуты, он такой вспыльчивый, что я ни за что не поручусь...

Через неделю или две брат уехал, а Ковалев вернулся в половине августа. VII

С Катюшей у нас во все это время было ни то, ни се... Однажды я зашел в чулан, где за перегородкой висели платья наших горничных и хранились их пожитки. Я видел, что Катюша прошла туда. Она сидела на полу перед сундуком.

-- Вот, -- сказала она, -- платочек, который вы мне третьего года подарили... Шутка сказать, сколько времени я вас вожу!..

-- Да, пора бы образумиться, -- отвечал я, -- пойдем сегодня после ужина в сад... Катюша задумалась; лицо ее стало грустно; она взяла меня за руку и молчала, опустив глаза... Я продолжал убеждать ее. Она все молчала, изредка вздыхая... Вдруг дверь скрипнула; мы обернулись -- Модест стоял перед нами, Катю-

ша встала и покраснела...

-- Нет, -- сказал Модест, -- она не пойдет гулять с тобою.

-- Отчего это?

Модест посмотрел на Катюшу и опять повторил: "нет, она не пойдет!" Катюша стояла у стены и, опустив глаза, перебирала руками фартук...

-- Не правда ли, Катя, ты не пойдешь? -- спросил он. Они обменялись взглядами; она вздохнула...

-- Пойдем отсюда, -- сказал мне Модест, -- зачем ей делать вред?.. Кто-нибудь увидит нас. И без того много болтовни и грязи... Я не понимал, в чем дело, и прямо оттуда, сгоряча, пошел к тетушке просить денег.

-- Двести рублей довольно, -- думал я, -- заплачу дяде за ее выкуп... Остальное на подарки. Устрою ее в Москве... -- Слово за словом, дошло у нас с тетушкой до ссоры.

-- На что тебе такая куча денег?..

-- Это мое дело, тетушка, на что...

-- Погубишь, погубишь ты себя! Уж случится с тобой что-нибудь, как с дядей, с Модестовым отцом!.. Я вижу давно, что у тебя вкусы

низкие... Все больше с простонародьем...

-- Не всем иметь благородные вкусы: надо кому-нибудь и низкие иметь... Все мои знакомые, Синевский,

Яницкий, Киреев, сами получают доходы с своих имений. Я один только до тридцати лет буду в пеленках ходить! И не требую даже всего, а вот пустую сумму прошу -- и ту затрудняетесь дать. Вы говорите всегда, что я не могу еще сам заниматься хозяйством... Хорошо... А вы сами знаете ли, что делается в моей деревне? Вы верите прикащику и никогда туда не ездите. Тетушка заплакала.

-- Выйди отсюда, оставь меня, -- сказала она кротко, -- выйди, прошу тебя. На дворе я встретил Модеста.

-- Что с тобой? -- спросил он.

-- Так, ничего; оставь меня.

-- А я хотел поговорить с тобой.

-- Нельзя ли после?

-- Мне тяжело ждать... Это дело важное...

Пойдем в сад. В саду он долго сбирался с духом, наконец взял меня за руку и начал:

-- Послушай, не оставить ли тебе Катюшу в покое? Ты напрасно себя тревожишь. День-

гами ты ее не купишь, Владимир: она выше этого, гораздо выше. А самого тебя... ты не обидься, смотри... Она еще вчера мне говорила, что считает тебя мальчишкой, что ты еще слишком молод.

-- Не верится мне что-то, -- возразил я с досадой, -- на нее это непохоже. Она взята с деревни; я уверен, что свежесть и добродушие ей нравятся больше, чем все эти гнусности, которые выдумали барышни -- опыт, сила, бледность, страданье... чтоб их чорт побрал!.. Давно ли она про тебя говорила, что ты губастый, весноватый, худой...

Модест сперва покраснел, потом долго шел молча, вздохнул и продолжал:

-- Быть может, она обоих нас проводит. Ошибиться можно всегда, особенно тому, кто благороден... Однако странно!..

Помолчав еще, он вдруг обернулся ко мне с выражением торжества и веселья на лице и сказал:

-- А что, если я тебе скажу, что все уже кончено? если я тебе скажу, что она принадлежит уже мне... что ты скажешь? Послушай, Володя (он взял мою руку), для тебя она была

бы игрушкой, для меня она -- святыня! Я никогда не говорил тебе так. Я знаю, что все это останется между нами. Я все скажу тебе... я хочу на ней жениться...

-- После этого, -- отвечал я грустно, -- мне нечего тут мешаться... Я не буду вам мешать.

-- Ты будешь так благороден, Володя? -- воскликнул он.

-- Еще бы! Это уж не то. Вот тебе мое честное слово, что я не буду подходить к ней, если ты этого не захочешь...

Оставшись один во флигеле, я долго думал об этой развязке. Я был сам не свой; потрясен, удивлен, огорчен и обрадован вместе... Итак, уж эти умные глаза, эти губы, молодой стан, знакомые руки -- все это не мое? Больно... Но как вспомнишь, что дикарка наша будет "дамой", что она наденет шолковое платье, что Ольга Ивановна принуждена будет говорить ей "вы", и "Катерина Осиповна", так станет легче... Вот какие вещи делаются у нас в Подлипках! Ольга Ивановна легка на помине: человек принес мне от нее запечатанную записку с деньгами:

"Тетушка ваша очень расстроена; она по-

ручила мне писать вам, что двухсот рублей у нее в эту минуту нет, а посылает она 170. Завтра прикащик отдаст вам 30. Не ходите к ней: она нездорова и не желает вас видеть..." На что мне теперь эти деньги? Я бросил их на стол и думал, что Бог меня очень скоро наказал за бедную тетушку.

Я еще не успел прийти в себя и сновал из угла в угол по флигелю, когда сама Катюша отворила дверь и шопотом спросила: "одни?"

-- Один, -- отвечал я.

Катюша обняла меня и прослезилась.

-- Я виновата перед вами, -- сказала она, -- знаю я сама... А я вас всегда больше чем его любила... Как это случилось -- не знаю сама... Простите мне, что я вас обманывала... Духу не хватило вам сказать; как увижу вас, то есть просто так жалко станет... Господи!

-- Что же, Катя? -- отвечал я, -- это к лучшему. Я бы никогда не женился на тебе, а он... Ты будешь Катерина Осиповна Ладнева...

-- Как же! сейчас так я и поверила этому! Ну, да такая моя судьба... Узнает он, что я здесь была...

Она хотела бежать, но было уже поздно.

Модест застал ее. Он не сказал ей ни слова, но едва только она затворила за собой дверь, он кинулся как безумный на кровать, потом вскочил, заплакал и, прижав платок к глазам, сказал: "Она тебя, тебя любит! Все пропало!"

Я уговаривал, упрашивал его, клялся ему, что не прикоснусь к ней, что она пришла сама, из сострадания ко мне.

Но долго еще ревность его не остывала; он бегал по комнате, божился, плакал, растерялся до того, что чуть-чуть было не уронил этажерку с книгами, опершись на нее с размаху локтями. Видно было, что он искренен, что не знает, куда деться. Я увел его в поле. День был тихий, осенний, везде блестела и неслась паутина; бедный Модест умилился и успокоился... Я вспомнил о тетушкиных деньгах и предложил ему 100 рублей.

-- Спасибо, -- сказал он. -- Деньги нужны... Надо уговорить ее уехать отсюда. Я не могу еще выбить из нее привычек низкопоклонства, ей ничего самая грязная служба, а я подумать об этом не могу без ужаса. Впрочем, к концу сентября увезу ее непременно...

После этого Катюша не раз приходила к

нам во флигель по сумеркам; Модест сам ставил самовар и поил ее чаем; он был очень внимателен к ней, даже нежен, и я старался избегать их общества, потому что он был неинтересен, а она холодно весела, и мне все казалось, что ей противно, что она его не любит. Немного спустя вышла в доме история, которая принудила Катюшу оставить Подлипки. До тех пор она все не соглашалась уехать, боялась чего-то. Сама говорила мне: "Страшно что-то! Вы не поверите, ей-Богу!.."

## VIII

Дня через три после этого в скотной ночью был пир. Тетушка, с тех пор, как к нам занесли падеж приятели скотника, запретила ему раз навсегда принимать гостей; но Филипп любил поиграть в карты и выпить, а жена у него была молодая и плясунья. Я еще спал, когда Модест на цыпочках и совсем одетый вошел в нашу общую комнату. Я открыл глаза.

-- Ты проснулся?

-- А что?

-- Проснись, проснись. Ради Бога, слушай... Она поедет, теперь -- я уверен -- она поедет!.. Молодец Филипп! Молодчина! Я видел ее сей-

час. Как она грустна, как мила!

Наконец-то я понял, в чем дело. Когда мы кончили чай, в столовую позвали всех девушек; тетушка села на кресле, у окна. Ковалев (он недавно вернулся), с чубуком в руке, расхаживал по зале. Прикащик докладывал, кто был на пиру и как. Девушки молчали; курносая Матрена, Маша, московская швея, с острой головой и большими коками, стояли рядом; из-за них, презрительно улыбаясь, выглядывала Мавруша, горничная Ковалевых, высокая, цветущая, толстая, черноглазая и разодетая в прах. Впереди всех вытягивала шею наша простуша Катюша. Модест отвернулся к садовому окну и барабанил по стеклу.

-- Воля ваша, я в скотной не была, -- сказала Маша.

-- Как же ты отпираешься? -- продолжал прикащик. -- У тебя и подол весь загвоздан... Прасковья-стряпуха сама видела, как ты через забор лезла, чтоб мимо моих окон не идти... Вот что!..

Ковалев в эту минуту вдруг остановился перед Маврой и спросил: "А ты была? Смотри, не лгать, не лгать!" И грозно поднял руку.

-- Была, была, -- сказал прикащик, -- в барской шали была... молчи уж! Ковалев еще ближе подступил к Мавре.

-- Говори, была? Мавра презрительно улыбнулась.

-- Отчего ж и нам иногда не погулять? Ведь господа гуляют... А барской шали я не брала.

Ковалев изо всех сил ударил ее по щеке. Мавра заплакала.

-- Serge! -- закричала жена.

Даша ахнула. Модест взглянул на меня и поднял глаза к небу. Сама тетушка покачала головой и обратилась к Катюше.

-- И ты, мать моя, туда же?

-- Куда люди, туда и я-с, -- отвечала Катюша и поклонилась ей в ноги. Модест взбесился и вышел вон. Девушек отпустили.

-- Все эти беспорядки от вашей слабости, тетушка, -- заметил Ковалев. Тетушка, грустно прищелкнув языком, отвечала:

-- Мужчины нет в доме, нет мужчины -- вот беда...

-- А Володя? -- спросил Ковалев улыбаясь.

-- Э! батюшка...

Вечером мы с Катюшей в последний раз

беседовали в Подлипках. Я уговаривал ее уехать с Модестом. Она была бледна, горько плакала, но говорила: "Здесь я привыкла; родные есть... будет ли лучше с ним?" При всем моем желании быть благородным, я не умел тогда быть благородным по-своему, не имел находчивости для отдельных случаев и больше боялся прослыть за бесчестного человека, чем быть им в самом деле. Правду говорит Катюша, ехать страшно; но если я буду молчать, если не истощу всех доводов, чтоб заставить ее ехать, Модест вдруг взглянет на меня с сожалением, улыбнется и скажет: "Позавидовал, позавидовал, Володя!", -- скажет тем убийственным тоном, которым Юрьев сказал когда-то: "ветер, Володя, ветер!"

-- Поезжай, поезжай, Катюша! Он тебя любит, он не оставит тебя... Охота тебе черной работой эти милые руки портить... Поезжай, не бойся! На другой день Модест пришел ко мне опять поутру и, ставши передо мной, сказал томно:

-- Она решилась. Мы едем.

-- Когда?

-- Послезавтра. Сегодня она будет просить

расчета. Я уеду завтра, вечером, и буду ждать ее в городе.

-- Володя! -- прибавил он, взяв меня за обе руки, -- поедем с нами. Я надеюсь на тебя и на Юрьева. Вы будете у меня свидетелями... Где-нибудь в деревне, на Воробьевых Горах... По-едем; мы будем кататься в лодке, ездить за город... Как теперь хорошо в Москве! Все листья в садах падают, прохлада...

-- Я очень рад, Модест, быть тебе полезным, -- отвечал я со вздохом. Мне тяжело было раз навсегда расстаться с мыслями о чепчиках, мантильях, кружевах, на которые я смотрел, бывало, проходя по Кузнецкому Мосту и думая о том, как бы я мог одеть в них перерожденную Катюшу. Деньги были, и я пришел, на следующий вечер, прощаться с тетушкой. Старуха огорчилась и просила меня остаться.

-- Все тебя этот Модест смущает... Такой фальшивый!.. Проживи с нами еще... Или старуха тебе надоела?..

Стоит ли жалеть женщину, которая называет меня мокрой курицей, и за что же? за доброту к людям! Если б она еще тридцать раз больше любила меня, так все-таки этого я

не простил бы ей.

Мы все уже сели за вечерний чай, когда Ольга Ивановна вошла и сказала:

-- Вообразите, Катюша сейчас упала в ноги Марье Николавне и просила расчесть ее... Затвердила одно: разочтите да разочтите! Все переглянулись. Но Модест довольно натурально спросил:

-- Неужели? Что это за фантазия?..

-- Уж не похищение ли это, Володя? -- спросила, смеясь, Ковалева.

-- Да! пожалуй... От него все станется, -- заметил бесстрашный Модест и поглядел мне прямо в лицо.

Настала свежая ночь, и мы выехали с Модестом, оба очень грустные. Модест не притворялся. В голосе его, на лице, озаренном месяцем, я читал смущение и полноту чувств человека, приступающего к решительному и благородному делу, от которого нет уже возврата к прежнему. Не жениться, мне казалось, он не мог после своих слез, своих слов и клятв. Не жалеет он простой народ, будь он человеком вроде брата -- обмануть Катюшу было бы в порядке вещей. Но он одинокий и

мыслящий бедняк, он понимает, что такое бесчестие.

Мы мчались с бубенчиками по тихому проселку, мимо сжатых полей ржи, мимо теплых деревень, уснувших над прудами, опускались в прохладные овраги, въезжали в рощи. Багровая луна долго стояла на краю неба; в полях пахло горелым. Модест первый прервал молчание.

-- У нее очень сильный голос и верный слух, -- начал он. Третьего дня, ты знаешь, я долго убеждал ее оставить Подлипки. После этого я ушел в сад и проходил мимо окна, у которого она плакала и пела. Сколько души! Я сделаю из нее актрису.

-- Ты думаешь, у нее есть сценический талант?

-- Есть, поверь мне, что есть, -- задумчиво отвечал он и прибавил помолчав:

-- Я и сам пойду в актеры. Что мне имя!

-- Что имя!

Целый следующий день ждали мы Катюшу в городе. Наконец она приехала на телеге одиночкой, пересела в наш тарантас, и мы поскакали на почтовых. Через сутки, рано

утром, я проснулся перед въездом в Москву. Город блистал вдали, и трава по сторонам шоссе была седая от холодной росы. Я поглядел на своих спутников. Модест, угрюмо насупившись, дремал, прислонясь к углу; а Катюша, в чепчике, румяная, раскрыв немного рот, сладко спала между нами на подушке. Я благословил их молча на новый и трудный путь и дал себе еще раз слово помогать им и дружбою, и деньгами, сколько можно, за то, что они у меня на глазах, в России, исполняли один из моих идеалов -- идеал соединения образованного человека с простолюдинкой высокой души. Толстогубое, неприятное лицо Модеста немного портило мой идеал... Если бы он был посимпатичнее или покрасивее! Вот, если б я был на его месте! Тут я вспомнил ревность его ко мне и его слова: "Я буду отдалять ее от тебя, когда женюсь". И вдруг передо мной явилась самая яркая картина, как будто не из будущего, а из прожитого. Сумерки. Его нет дома. Молодая женщина в диком шолковом платье сидит за роялем. На руках у нее кольца, браслеты, кружева. Я молчу и слушаю. Вдруг она наклоняется, берет мою руку,

припадает к ней -- и слезы текут у нее градом. Она любит меня, новая, неизвестная еще мне Катюша! А я?.. Об этом я не думал, и через час или полтора подъехали мы к гостинице. В Подлипках поднялась без нас страшная суматоха, когда все узнали, что Катюша уехала с нами. Тетушка была в отчаянии и проклинала Модеста за то, что он помогает в подобных делах. Она даже решилась сесть в коляску и ездила сама на станцию, в город, узнавать всю правду.

-- Погубит, погубит он его! -- говорила она.

-- Да не беспокойтесь, Марья Николаевна, -- сказал ей Теряев, -- она уехала с Модестом, а Володя помощник... студент, защитник невинности. Тетушка написала мне длинное наставление, просила не принимать распутника и прибавила, что Ольга Ивановна прозвала его Дон-Кишотом, а меня Санхо-Пансой. Я разорвал это письмо с негодованием.

Сначала все идет хорошо у Модеста с Катюшей. Она одета со вкусом, весела, пополнела, выучилась как раз играть кистью на блузе (она ли это?); номер у них светлый, чистый; на дверях окно с красной шерстяной занавес-

кой; стучусь в него...

-- Кто там? - Я, я.

-- Ах! это он!..

С веселыми лицами они отворяют мне дверь. Где моя зависть? Я не грущу и вздыхаю у них не тяжело, а легко... Модест не тужит о будущем. Деньги есть. О чем мы только не говорим! Все их смешит, все занимает; они рассказывают мне о своих соседях по номерам: как француз в зеленом халате жалобно просит самовар каждое утро у коридорного; как молодой немец щиплет свою жену; как армянский купец любит белокурую Шарлотту, которая живет против них. Приходит к ним часто старая чепечница Серафима Петровна, которая в свое время так пожила, что до сих пор забыть не может, и говорит мне: "Поверьте, Владимир Александрыч, незаконная любовь всегда слаще законной!" Мы ее зовем просто "Чепечница Петровна" и хохочем всегда, когда она тут. Модест провожает меня всегда с лестницы и говорит с чувством:

-- Прощай, Володя... Заходи... Прощай, Модест! (говорю я сам себе). Прощай, и верь, что я не обману тебя! Сколько раз случилось мне

проводить с ней целые часы без него, отды- хать вместе с ней после обеда -- она на кровати, я на диване -- и никогда никакая непозво- лительная мысль не закрадывалась мне в ду- шу... Братский поцалуй на прощанье, и толь- ко.

Он беспрестанно хвалит ее; самые шутки его стали веселее и проще, смех искреннее, голосистее... И какому вздору они смеются!.. Однажды подхожу к окну: там на штукатурке написано карандашом рукою Модеста: "Что у меня за ножка, как купеческая дрожка!" "В. Отчего ты болтаешь как сорока?"

"О. Оттого я сорока, что на лестницу летаю высоко!" (Их номер в третьем этаже). Это счастливый Модест записывает остроты Катюши. Мы гуляем вместе; ездим в Кунцево, в Нескучное, в Кусково; везде падают листья, и погода стоит ясная. Они жалеют меня, и Катюша нарочно приглашает потихоньку от армянина Шарлотту. Немка свежа, и глаза у нее совсем голубые; к тому же тень Лермонтова носится надо мной, когда я вспомню о чор- ных усах армянина (армянин, грузин, черкес - не все ли равно?). Он даже может убить ме-

ня... жутко немного, но все-таки хорошо. Я бы и не прочь полюбить ее, но как только она сожмет сердцем губы и скажет: Негг же! Негг же! -- так меня холодом и обдаст. И я опять один. Здесь в Москве недурно, но из Подлипков вести нехороши. Теряев уехал. Тетушка пишет мне:

"Бедная Ольга Ивановна много плачет. Она доверилась этому негодяю. Даже глаза разболелись от слез. От Клаши весть пришла добрая: за нее сватается хороший человек, ты его видел -- г. Щелин".

Как не видеть г. Щелина! Он еще прежде, бывая у нас, засматривался на Клашу, Хороша весть! Быть невестой человека, у которого бакенбарды идут по середине щеки к носу, лицо жирное и белое, Станислав на шее, живот большой, руки сырые... Нет, не пойдет она за него, как может она решиться пойти за него, когда она сама слышала, как и что он говорил! Значит, он говорил хорошо, если из всех слов его мы с нею запомнили только одно:

-- Когда я был посылай на Кавказ для узнания порядка службы, граф Андрей Арсеньевич...

И ведь читала же она "Нос" и знает, что Ковалев был кавказский коллежский ассесор точно также, как и Щелин! Этого одного, кажется, довольно. Нет, это бредни: она не пойдет за него.

Я пишу ей лихорадочное письмо; но она отвечает мне кротко: "Что ж делать, Володя? Я бедна; сестра моя тяготится мной; а он добр и души во мне не слышит".

У меня и письмо из рук выпало! Жалеть или презирать? Боже, как жизнь что-то становится темна и страшна!

X и XI В эту зиму дом наш в первый раз опустел: не было ни Модеста, ни брата, ни Клаши, ни Катюши. Ольга Ивановна глядела сурово из-под зеленого зонтика. Даша похудела, много читала и мало говорила, часто брала простого ваньку и уезжала к Ковалевым, без локонов, без игривости... Придешь вечером в большой дом; только что отработал, расправил спину, душа полна, совесть спокойна... хорошо жить на свете! Кажется, и всем должно быть хорошо... Что-то наши? Весело ли им, как мне? Нет, им не весело (они не умеют жить!). Тетушка сидит в большом

кресле, в простенке, перед столиком с двумя подсвечниками, и щолкает картами. Приостановится, побарабанит пальцами и запоет:

— Эх... двойка!... Где моя двойка... двойка, двойка... тузик, где ты, тузик?.. Ольга Ивановна около круглого стола тоже щолкает картами или вяжет, почти не глядя. Даша читает, вышивает или ходит по зале взад и вперед одна. Скучно! Разве кто-нибудь зайдет... да и кому зайти?.. Гости почти все бывали у нас по утрам с визитом или поздравлением, а вечером что им у нас делать? Москва велика, люди живут врозь; кому охота из Харитония в Огородниках к нам в Старую Конюшенную ехать?.. По утрам еще можно было встретить у нас кого угодно: и старого князя\*\*\*, и пехотного офицера, маленького, скромного, который от робости попадал большим пальцем не в ту сторону, где его можно было запустить за борт, и только трогал им поочередно все пуговицы, и гвардейцев, прежних братниных товарищей, и богатых родственников с дочерьми и сыновьями, и толстую, красную жену мелкого помадного матера, которая, вышедши замуж, привезла к нам мужа и сказала: "вот мы

хоть и плохи, а нас люди любят!" Приезжал и архимандрит; он останавливался в прихожей, вынимал стклянку с духами и наливал их себе на руки; монахини приносили просфоры; старичок Хорохоров, тетушкин charge d'affaires, распространял иногда при всех свой любимый запах -- смесь лимонной помады и вина. Ходил еще к нам один молодой архитектор; печальным басом пел он у нас романсы, избоченясь у рояля, не только во фраке и рубашках, расшитых гладью, но даже в полубархатной жакетке, как дома. Он был очень смугл и красив, носил широкие, круглые бакенбарды, как те испанцы, которые сражаются с быками, и в мягкой медленной улыбке его, в задумчивых глазах, казалось, скрыта была какая-то тайна. Даша вела одно время с ним секретную переписку (в промежутках между поляком и Модестом), но потом бросила его и говорила, что он толст, груб и скучен, что он похож на самовар. И несмотря на лимонную помаду Хорохорова, на вышитые рубашки и плисовый сюртук архитектора, на жену помадного торговца, по большим праздникам на круглом столе нашем встречались,

в груди визитных карточек, имена таких людей, о которых стоит только подумать, чтоб стало легче жить на свете! У одного балкон с золотыми перилами, слуги в штиблетах и ли-вейных фраках стоят на драпированном подъезде; другому государь, месяц назад, рескрипт в газетах писал; иному уж восемьдесят лет, а он в голубой ленте, звездах, ездит на все акты и заседания каких-то ученых обществ (к которым я ни за что на свете не хотел бы принадлежать, но рад, что они существуют); у третьего обедал два раза d'Arlincourt; у четвертого племянница за немецким графом, в отечестве Шиллера и Гете, а двоюродный брат ездил в Индию, откуда один мысленный шаг до того необитаемого острова, где мужчины молоды и невинны, а девушки просты и страстны. Но в будни и по вечерам у нас редко бывали гости. Тетушка щолкает, щолкает картами, потом смешает их, постучит табакеркой и вдруг скажет: "Посмотрите! как эта тень от люстры похожа на черепаху!" Все давным-давно знают, что она похожа; я даже знаю, в который угол смотрит голова, а в который хвост, однако, все мы гля-

дим на потолок и говорим: "Да, это правда!" Молчим минут с десять. Опять раздается голос тетушки:

-- А холодно на дворе?

-- Давича я смотрела, -- отвечает Ольга Ивановна, -- около одиннадцати градусов мороза.

-- Одиннадцать градусов! Вот и зима прикатила опять. Кому вздохнется, кто зевнет, и опять все молчим. Даша все еще суха с теткой; тетка сурова с ней. "Подите, возьмите, прочтите мне это громко!" -- "Хорошо, сейчас!" Больше ничего не услышишь от них. Мне так жаль иногда стареющую Дашу, что я даже избегаю ее. О чем бы она ни заговорила, мне слышится в словах ее отчаяние. "Мне двадцать семь лет! Я покинута. Меня никто не любит... Я старая девушка, бедна и презираю себя!" Жестокая, грубая Клаша! И я бездушный человек! Зачем мы говорили ей, что она ходит как Настасья Егоровна Ржевская! Она вяжет мне одеяло теперь; я привожу ей билеты в стали и говорю: "Поедьте с Ковалевой в стали; давайте кутить!", а у самого сердце так и щемит, и улыбнуться даже больно. Собственная моя личность в эту зиму бледнее

прежнего. Я уже не помню тех научно-поэтических восторгов, которые заставляли меня бегать по флигелю в священном безумии; не помню той душевной неги при одной мысли о том, что я -именно я, а не кто другой, что я живу, дышу, ем и мыслю, буду любить и буду любим. Подобные чувства, конечно, были и теперь, но сознание привыкло, должно быть, к ним, не удивлялось им, и память о них ослабела. Я жил разнообразно; был уже студентом, сибаритствовал, хохотал и мыслил с Юрьевым, жалел Дашу, презирал Клашу, посещал номер Модеста и Катюши, ездил в театр, танцевал изредка, изумлялся, делал мелкие открытия -- но почва подо всем этим была старая. Я донашивал прежнюю кожу положительно идеального эклектизма, не замечая, что к середине зимы она уже сквозила во многих местах. Я начинал чувствовать в себе что-то тоскующее, трепетное; но желчного было еще мало. Юрьев нанес мне несколько легких ударов. Юрьев первый заговорил со мной языком, от которого пробудились все струны моей души. В оригинальной, беспорядочной шутке его не только не было натяжки, как у

Модеста, но от нее становилось легче, даже тогда, когда он глумился или кощунствовал. А он это делал часто. Бедный Вольтер, которого оклеветала тетушка, показался мне, когда я познакомился с ним, безвредным ребенком, сухим и поверхностным перед моим домашним Мефистофелем. Куда девался тот скромный юноша-делец, прилежный, идеальный, тот "муж разума и чести", который говорил мне о женщинах с волнением, с задумчивым взглядом, который умоляет меня жениться на русской? Стоило только вспомнить всеобщные в городе, где дядя был вице-губернатором, чтоб видеть, как он переменялся. Я любил тогда ходить ко всеобщей больше, чем к обедни. Темные своды, блеск старого иконостаса, лампы и густой голос Юрьева располагали меня к такой пламенной молитве, которой сладости и чистота не повторялись другой раз в моей жизни. Юрьев пел задумчиво и страстно, прислонясь головой к стене и скрестив на груди руки. Хор гимназистов был складен: у двух братьев, мальчиков одиннадцати или двенадцати лет, были небесно-кроткие голоса; слушая их из-за колонны в

темном углу, я верил в ангелов уже не по привычке, а по внезапному сердечному вдохновению; скрывшись от народа, я становился на колени и не вставал Долго, плакал и не стыдился простирать руки к небу, когда октава Юрьева и нежные голоса двух мальчиков согласно покрывали все остальные и пели об этом страшном "житейском море", которое волнуется и в которое я так бы хотел тогда безнаказанно погрузиться!.. Легче было жить тогда! Отойдет служба; народ станет сходиться с паперти, а я уже жду его на церковном дворике. Встречаемся: он рад и жмет мне руку. Мы оба улыбаемся.

-- Ну, что?

-- Ничего -- хорошо.

-- А ведь сладко, когда помолишься?

-- Конечно, сладко! И пойдем вместе или ко мне, в мою веселую комнату, или, если погода хороша, пойдем бродить по улицам, на бульвар; вздыхаем легко, задумчиво и бодро и, "предав себя весело Богу добрых людей", говорим о женщинах -- он о своей Маше; я о Людмиле.

Теперь он уже не тот. Я скоро заметил, что

склонность к осуждению и насмешке стали в нем сильнее, что ему во мне не нравилось многое. Меня это удивило. Я не умел распознать тогда ту летучую сумму приемов, которая зовется натурой человека; я не видел никакой разницы между ним и собою -- видел только одно общее направление. Голова моя была так полна литературными мыслями о женщинах, любви, дружбе, Боге и природе, тонкой путаницей неопытного самолюбия, лекциями, мелкими и новыми встречами с теми людьми, которые играют в нашей жизни роль гостей, сенаторов, дам, воинов и народа, что для умения ясно узнавать цельных людей во мне не хватало места; я не успевал и не умел отчетливо следить за чужими движениями, тоном и взглядами; "серая теория", по выражению Мефистофеля, все более и более приобретала мое уважение, и "золотое дерево жизни" представлялось уже менее "зеленым", блекло нечувствительно с каждым месяцем. "Голос разума", которого когда-то боялся Юрьев в своих стихах, уж не издалика грозил мне! Занятый этими теоретическими вопросами, я забывал о Юрьеве, как о полном

человеке, и видел в нем только струны ума, однозвучные с моими, хотя и признавал добросовестно (это я помню), что мои далеко не равносильны. Лет через пять, не прежде, я раз, проснувшись поутру на станции, догадался, что Владимир Ладнев для Юрьева был почти тем же, чем была Даша для меня: добра, безвредна, даже не лишена по временам нервной энергии, но не ловка духовно и часто напоминала играющего щенка, который смотрит не туда, куда надо смотреть, прыгает не туда, куда надо прыгать, поскачет, поскользнется, тут же задремлет на минуту и, проснувшись дрожит и пищит жалобно. Юрьев, быть может, не всегда был прав в сущности, но всегда был силен и ловок приемом...

-- Куда нам за вами, граф! -- сказал он мне однажды, -- вы даже и в лошадях знаете толк... Вы любите лошадей, граф? Что ж вы молчите?

-- Разве я могу тебе сказать правду? Я даже не могу объяснить тебе, отчего я не могу сказать этой правды.

-- Говорите, говорите... Вот вам оба уха разом... Ни одна волна воздуха, можно сказать,

не пропадет...

-- Не могу! -- отвечал я, задыхаясь.

-- Ну, прошу тебя, скажи, чудак!.. Я начал медленно:

-- Видишь ли! Я имею состояние, а ты беден... Наша фамилия... Но Юрьев не дал мне кончить: он уже лежал на земле, закрыв глаза и без движения, как в глубоком обмороке. Все кончилось смехом, но я был прав. Лошади у меня бывали свои и хорошие; я знал их и любил иногда заниматься ими от всей души. У Юрьева лошадей не бывало, и он мне не верил. Вздумал он также звать меня сила воли, особенно, когда заставлял за работой.

-- Господи! -- говорил он, -- Господи ты, Боже мой! Что это за человек! На все руки! И лекции изучают, и на балы в какие места ездят, и частной благотворительностью отличаются. Нищим, как Чичиков, никогда не преминут... "Левая, говорит, рука чтоб не знала"... Оттого они левую руку в кармане всегда и держат. И пером иной раз могут владеть! Вы думаете, кто это Мильтона раскритиковал?..

Они! Правительство даже как в одном месте политично задел! "Мильтон, говорит, так

и так..." Вот они! Вот они... (кричал он изо всех сил и, с беспокойством в лице, обращаясь вдруг к пустому углу, закрывался от меня рукой и шептал) Вы знаете, как ихнее имя? Сила воли! Сила воли! Я просил перестать и часа на два становился печальнее; но по-прежнему всякая тоска, всякое страдание казались мне ошибкой, слабостью, неправильным состоянием души. В этих минутах сердечного дрожания (если можно так выразиться) я не умел еще видеть первые черты того, над чем я так смеялся, чего не понимал и что считал постыдной маской, давно оставленной лучшими людьми -- первые черты разочарования... Я и не подозревал, что во мне повторится то, что давно съедало молодость многих, приготавливая их к лучшему и что я всякую радость года через полтора или два стану считать слабостью, неправильностью и самообольщением. Но пока еще я по-прежнему не понимал "Думы", относил ее к людям, подобным брату -- и Печорин был мне противен.

XII Сентябрь давно прошел, и Филипповки были уже близки, а Модест с Катюшей не бы-

ли еще обвенчаны. Тетушка, несмотря на презрение свое к Модесту, поручила своему Хорохову поискать для него место, но Модест отказался от ее помощи.

-- Не надо! Гнусность! -- воскликнул он сурово; потом прибавил: -- Поедем-ка сегодня в купоны, "Горе от ума" смотреть, и Катюшу возьмем. Сперва у меня в номере чаю напьемся. Помнишь, как она в Подлипках плясала и пела: "Ах, жизнь не мила, в трактире не была"... Поедем! а?

Мы напились чаю в номере и поехали в театр все трое в наших парных санях. Тетушка не знала, для чего я взял ее сани, и я с удовольствием осквернил их Катюшей.

Когда она стала садиться в них, кучер, отстегивая полость, не обратил на нее внимание, но она сама сказала ему со смехом (без которого она даже и плакать не могла):

-- Здравствуйте, Григорий Кондратьич... Вы никак загордели уж ноньче?

-- Ах, ты Господи! Катерина Осиповна! Здравствуйте, кума, здравствуйте! Как поживаете? Ах ты Господи! Не узнал, не узнал!

-- Садись, садись, -- сказал Модест, -- доро-

гой можно любезничать. И точно, дорогой, когда приходилось проезжать по площадкам и переулкам, в которых встречалось мало экипажей и пешеходов, кучер придерживал лошадей, беспрестанно оборачивался к ней и отвечал на все ее вопросы о Подлипках, о дворовых людях, о родных из других деревень. Она была вне себя от радости: то смеялась, то ахала, когда кучер говорил о чем-нибудь печальном: "старик Герасим на пчельнике у себя помер", или "в Петровском десять дворов сторело..."

-- Скажите, какая жалость! -- говорила Катюша, покачивая головой.

-- Ну, а скажите, пожалуйста, как теперь у вас... -- начинала она вдруг совсем другим голосом и опять хохотала.

Мы с Модестом любовались на них. В театре Катя сперва заметила про Щепкина:

-- Ну, уж старик!., пошел старое время хвалить! Потом занялась Лизой и на возвратном пути не раз вскрикивала в санях: "Ну, как, не полюбить буфетчика Петрушу! Так она это говорила?"

Модест беспрестанно смотрел на нее во

время представления, ловил игру впечатлений на ее лице и подмигивал мне на нее так кстати, что я опять увидал пред собою того искренно влюбленного и счастливого человека, которого знал месяца два-три назад.

Если б они всегда были так милы оба! Какой сладкой обязанностью счел бы я вести за них войну с тетушкой и Ольгой Ивановной!

Да! если б у Модеста с Катей все было хорошо! Но Бог с ними! Уже в январе призналась мне Катюша, что она беременна, и Боже! сколько теплоты проснулось во мне!

-- Душа, душа моя Катя! -- сказал я ей, обняв ее с самой чистой, священной нежностью брата.

-- Ах, прощай, моя молодость! -- прошептала она, припала ко мне и плакала. Я смотрел на обезображенный стан ее и на красные пятна, которых я прежде не замечал на ее лице, и что со мной случилось в эту минуту, никакими понятными словами передать не могу!

Мало ли беременных на свете? Уже и от мужа Клаши пришло к тетушке письмо, в котором он говорит, что "мой ангел, Клаша, не совсем здорова, и сердце убеждает меня, что я

отец!" Отец! Щелин -- отец, и Клаша, надворная советница -- мать; Модест, почти студент -- отец, и Катюша, наша деревенская девственница, мать, мать тайная, мать-страдалица, в бедном номере, среди чужой и незнакомой толпы! Я вернулся домой -- и над судьбой ее задернулась тогда для меня непроницаемая завеса. Над Клашей тоже опустил я занавес, но совсем другого рода, и, когда тетушка сказала мне: "Что-то от друга твоего нет вестей. Здорова ли она?", я спросил:

-- Кто этот друг?

-- Клаша... Муж хотел еще написать что-нибудь повернее об ее положении.

-- Стоит ли интересоваться этим! -- воскликнул я. Все это так, конечно: Катюша выше Клаши; но когда

Модест пришел ко мне и повторил ту самую новость, которая так сильно поразила меня, лицо его было скучно, и я не решился спросить: "а что же свадьба?" Я думал, ему будет больно от этого вопроса.

И ссоры у них начались. Модест вздумал вдруг ревновать ко мне. Однажды я долго стучался к ним в дверь -- никто не отпирал, а ко-

ридорный сказал, что Катерина Осиповна дома.

Наконец показалась Катя. Она была невесела.

-- Что с тобою?

-- Ах, уж что толковать! Веселиться нечему... Не на веселье родилась... вот что...

Отчего ты меня так долго не пускала?

-- Оттого, что ваш милый братец не велел без себя вам отворять дверь. Пусть при мне, говорит, ходит... Да не то, что к вам: с монахом вчера на паперти два слова сказала, так и то он такой крик поднял... И зачем это я послушалась вас?.. Все вы виноваты... Зачем я поехала с ним! На свою погибель... Молодость и здоровье с ним потеряю... Несчастливая я, несчастная!..

Она долго плакала, и я с трудом на этот раз рассмешил ее. Модест застал нас, но был очень весел и любезен со мной и ни малейшего признака ревности не показывал ни в этот раз, ни после. Они то ссорились, то ласкали друг друга; ссоры огорчали, а ласки смущали меня; особенно мне было противно, когда она раз поцаловала у него руку и поцаловала

без страсти, так, чуть-чуть прикоснулась: видно было, что потребности к этому у ней вовсе не было. Еще одним идеалом меньше!

-- Да, брат, человеку не угодишь! -- заметил Юрьев, когда я ему жаловался на них. И мне вдруг казалось, что я виноват, что я многого требую, а что они счастливы, и ссоры у них, как перец и соль в кушанье, улучшают вкус.

XIII

Юрьев бывал у меня почти каждый день, обедал, уходил часа на три к своим воспитанникам и вечером приходил опять; ночевал, просиживал у меня до поздней ночи. Я забывал всякое горе, когда поднималась занавеска на моих Дверях и он приветствовал меня всякий раз на новый лад.

-- "Дон Табаго, а дон Табаго?! -- Или: -- Замечательная натура, как ваше здоровье?" Как бы ни было мне грустно, но стоило только услышать его голос и становилось весело. От улыбки я ни за что в свете не был в силах тогда удержаться! Мало-помалу я утрачивал всякую способность мыслить самобытно; я только думал мимолетно, но доканчивал работу мысли он за меня; услышав его приговор,

я откладывал в сторону вопрос, как навсегда решенный. Запас живых и научных фактов рос в моей памяти с каждым днем; взгляды расширялись; благодаря ему я начинал понимать форму в искусстве; но сам я, как умственный производитель, как личность, живущая сама собой, падал все ниже и ниже. Взгляд его черных глаз, улыбки, покачивания головы было достаточно, чтобы заставить меня переменить намерение, оставить всякое начинание, утратить веру в собственное мнение. Я не испытывал еще ничего подобного; я думал теперь, что без него жизнь не жизнь, что никакое богатство, никакая любовь, никакая слава не будут полны, если вечером нельзя будет рассказать о своем счастье ему, услышать его изящную похвалу, его неумолимую критику, умирать со смеха от его импровизаций в стихах и прозе. Его прикосновение никого не оскверняло в моих глазах. Смеяться над тетушкой я не позволил бы никому; другой бы не над тем смеялся, над чем можно, и не так, как надо; но на него я не сердился, когда он называл Марью Николаевну "рыдваном", или рассказывал мне, как она ездила с

Ноем в ковчеге.

-- Ты ступай, говорит, на Арарат! -- "Нет, я на Гималаи уж пойду!" На Арарат, закричит, да как топнет; ну, Ной и сробел. "На Арарат, говорит, так на Арарат!" Он уж ныл, ныл... С тех пор и стали его звать Ной... Надо было видеть, как он это рассказывал! И всем он дал у нас в доме прозвания такие удачные, что я и объяснить не могу. Ольгу Ивановну он звал "набалдашник", и это очень к ней шло; Дашу -- "стебель, колыхаемьш ветром", но прибавлял, "что и стебель может быть благоуханен и что им можно заметить славную страницу в жизни"; Модеста он видеть не мог спокойно и называл его то "жеребцом-водовозом" за худобу, то просто "весной" за веснушки. "Весна, весна идет!" -- кричал он, увидав Модеста на улице. Однажды Модест сказал при нем, что Гоголь -- русский Поль-де-Кок. Юрьев вскочил, сгорбился, схватился руками за живот и начал с ужасом, выпучив глаза, бросаться по всем углам комнаты, как будто не мог найти дверей. Надо было знать его страстную любовь к Гоголю, надо было видеть его фигуру и выражение тонкого, благовоспитанного пре-

зрения на лице Модеста, чтобы понять мое блаженство.

-- Что за шут гороховый! -- прошептал Модест. Только узнавши от меня, что Катюша уже мать,

Юрьев стал мягче смотреть на Модеста и сказал тогда, задумчиво вздохнув: "Тоже человек ведь, поди!"

О чем мы только ни говорили с ним! Никогда у нас не умолкали чтение и беседа. Говорили о науке, о любви, о домашних делах; от него узнавал я такие вещи, о которых и в книгах тогда не читывал.

-- А как ты думаешь, Володя, ведь обезьянка какая-нибудь славная сидит теперь на пальме около Бенареса какого-нибудь и думает! Как по-твоему, думает она, или нет?

-- Еще бы! Разве у нее нет души... Потом, помолчав, я прибавлял:

-- А ведь это страшно, если вдуматься!

-- Нет, именно, если вдуматься, так и страх пройдет. Впрочем, ты, Володя, живи верой: к тебе идет, идет к твоей комнате и ко всему твоему. Но к чему вел такой совет? Прежде наука только согревала для меня Мир: она бес-

престанно напоминала мне то о чем-то творящем, добром, то о чувственном, страстном; я думал, что за доброту мою и за мое знание наградит меня Бог и в этой жизни и в той; а в его словах наука приобретала такое разлагающее, ядовитое свойство, что меня бросало иногда и в жар и в холод во время наших ночных и послеобеденных бесед. То он уверял меня, что человек весь состоит из каких-то пузырьков, что на низшей степени нет никакой существенной разницы между человеком, растительной ячейкой и инфузорией; то рассказывал, что можно составить такую ванну, в которой разойдется весь человек, как сахар в воде (и сам хохочет!); то говорит, что вес условно; зависть, корысть, тщеславие называет "общечеловеческими чувствами", уверяет, что у всякого человека есть все то, что есть у других. И если бы еще он строил системы, ясные, увлекательные, а то сказал два-три слова и пошел -- а тут обдумывай и терзайся! Я все чаще и чаще начинал грустить и думал уже изредка о серьезной любви, об утешении, а не о забавах с женщиной.

Насчет этого он меня ободрял.

-- Не бойся, -- говорил он, -- не та, так другая полюбит... С твоею развязностью, с твоим профилем и страстью на конце языка...

-- Только на конце?

-- Немного разве дальше... Да что тебе за дело? Любили бы тебя! XIV

Не удалось мне избежать переселения в нижний этаж флигеля, где не было ни чугунной решетки с бронзовыми звездами на балконе, ни камина, ни арки с полуколоннами, ни обоев. Ковалевы переехали, наконец, к нам. Я не буду рассказывать, как я был взбешен, как я долго не хотел даже отделять нижних, мертвых для меня комнат, и на деньги, которыми старалась утешить меня тетушка, закупил множество подарков сестре моей перед Богом -- Катюше. Радость ее и теплая благодарность Модеста немного развлекли меня; потом пришел Юрьев и сказал: "Дон Табаго! Я столько раз бывал турим в моей жизни из хороших мест, что нынче понимаю вас! Вдругорядь будете знать, что все непрочно... не скажу в свете, потому что в настоящем свете не бывал, а хоть бы и в том полумраке, в котором вы, Дон Табаго, играете

такую значительную роль!.."

-- Перестань! -- отвечал я, -- тетушка не понимает, как это для меня важно! Я работать здесь буду меньше и ей этого никогда не прощу!

-- Владимир Ладнев! Владимир Ладнев! -- возразил Юрьев кротко, -- будь с доброй теткой не только Ладнев, но и Покорский! (У нас был знакомый студент Покорский, очень тихий, бедный и добрый человек).

Я смягчился, скоро привык к новому жилью и убрал получше нижний этаж. Через неделю, не больше, судьба наградила меня: Ржевские, мать и дочь, приехали в Москву.

Они остановились у одной богатой родственницы. Муж этой дамы был двоюродный брат самой Евгении Никитишны; он умер генералом лет за шесть до этого времени и оставил ей взрослого сына и трех дочерей, из которых старшей было 16 лет, а младшей 10. Тетушка делала г-же Карецкой два-три раза в год визиты, и Карецкая приезжала к нам изредка в большой карете четверней с фореитром. Она внушала мне небольшую робость и большое уважение. Ее томный вид, медлен-

ная, слабая походка, большие, черные, задумчивые глаза, удивительный вкус и роскошь ее одежды и сан ее покойного мужа, который с обнаженной саблей скакал верхом через трупы (в пышной раме на красных обоях гостиной) -- все это располагало меня к ней. Говорили, что дела ее расстроены, что она не умеет хозяйничать, что она не в силах поддерживать огромный дом, который достался ей после отца, что она все деньги издерживает на сына, потому ли, что он любимец ее, или потому, что флигель-адъютант; говорили также, что на долю дочерей придется не более двадцати тысяч серебром. Иные смеялись над ней, звали ее старой мечтательницей и Рассказывали, что она в Париже отыскала сестру милосердия, *soeur Marthe*, ездила с ней к больным и варила с ней вместе тизаны. Но я, молча, сочувствовал ей и любил, небрежно взбивая волосы, взбегать по узорной чугунной лестнице в ее больших сенях... Две большие бронзовые нимфы на высоких пьедесталах, качнувшись вперед, встречали меня на верхней площадке и простирали ко мне руки с подсвечниками. По ту сторону бездны, над

лестницей перед другой площадкой, стоял ряд белых колонн коринфского ордена, и за золоченым балюстрадой видна была таинственная дверь внутренних покоев. Дочери, все три белокурые и стройные, были робки и стыдливы; они редко ездили в гости, много учились и много занимались музыкой. Я желал со временем жениться на второй дочери, Лизе; она больше других нравилась мне лицом. Этим браком я мечтал завершить пир моей молодости. Тетушка случайно укрепила во мне эту мысль; прошедшим летом она сказала мне: "Вот бы тебе, Володя, со временем невеста. Мать тебя очень любит: такой, говорит, он славный! "

-- Почтенная женщина! -- подумал я, содрогаясь от радости, -- какое у нее доброе лицо!..

Я даже спрашивал себя не раз, какой жилет я буду носить дома под толстым синим пальто, когда буду мужем этой хорошенькой Лизы, которая так наивно отставляет локти от стана, и, краснея, приседает в ответ на мой почтительный поклон? Короткие посещения по праздникам не могли насытить меня, а бывать чаще меня не приглашали и незачем бы-

ло приглашать.

Когда Ржевские приехали, мы стали чаще ездить к Карецким, и Софья с матерью бывали у нас по нескольку раз в неделю.

Софья выросла и немного похудела, но мраморный румянец все еще играл на ее щеках; она стала смелее прежнего, разговорчивее, танцевала так легко, что даже становилось иногда неловко: не знаешь, один ли танцуешь или с ней. Я долго раздумывал, как решить дело: объясниться ли ей прямо в любви, или сойтись с ней просто дружески и просить ее помощи для влияния на Лизу, на будущую невесту. Случай заставил меня выбрать первое... Лизе было только четырнадцать лет, а мне ждать уж надоело. Однажды, все мы -- те-тушка, Ольга Ивановна, Даша и я были у Карецких. Даша пела песнь Орсино в маленькой гостиной около балкона над лестницей. По балкону ходили взад и вперед Ольга Ивановна с одним приятелем моим, Яницким (с которым я вас еще познакомлю), а мы с Софьей прохаживались по сю сторону бездны. Песнь Орсино, белое платье Софьи и великолепная тень на стене от сквозных узоров лестницы

расположили меня к решительности.

-- Вы верите, -- спросил я, -- что можно по-любить человека, почти не говоривши с ним?..

-- Верю.

-- Вы помните нашу встречу на качелях?..

-- Помню.

Она опустила глаза и улыбнулась.

-- Вам смешно, -- продолжал я, -- а я никогда этого не забуду. Не знаю, как для вас, а для меня эта встреча... Я ничего не требую взамен. Я прошу только одного: могу ли я говорить вперед так прямо, как я говорю вам теперь?

-- Вы могли заметить сами, что я нахожу удовольствие с вами и еще, кроме того... Она задумалась. Я встал и сказал ей:

-- Я уйду. Нельзя так долго оставаться нам одним. Прошу вас, скажите мне что-нибудь...

-- Вы еще очень молоды, -- сказала она. Я стал уверять ее, что она сама не имела случая убедиться, кто раньше созревает

-- девушка или юноша, и повторяет это за старшими, а старики судят по прежним молодым людям.

-- Может быть, это правда, -- отвечала она и, посмотревши на меня пристально, подала мне руку, которую я крепко пожал и поднес к губам... Тайный союз был заключен, и через полчаса, проходя за шляпой через площадку, я увидел ее по ту сторону лестницы. Она сидела на балюстраде, прислонясь головой к колонне, и казалась задумчивой. Увидев меня, она обернулась ко мне лицом, медленно и многозначительно покачала головой; потом встала и ушла во внутренние комнаты; но белого платья ее за золотым балконом я никогда не забуду! Через несколько дней я опять увиделся с нею и успел оставить в руке ее записку. Я начинал так:

"Вам может показаться странным, что я без всякого такта напоминаю вам о вещи, о которой многие сочли бы нужным умолчать. Я говорю о моем портрете и о том, как вы были у нас в деревне. Вы были, конечно, институтка тогда, и я, поверьте, не хочу употреблять во зло вашу тогдашнюю наивность; но я бы хотел знать только, на что мне надеяться? Страсти я еще не слышу в себе, но думаю беспрестанно об вас. Скажите мне что-нибудь и

не примите эту записку за дерзкую самоуверенность: это только искренность!"

Я показал записку Юрьеву; он похвалил ее, особенно за слова "страсти я еще не слышу в себе!".

-- Ничего, ничего, -- сказал он, -- легко, душисто и гладко, как сама бумажка, на которой вы набросали, граф, эти плоды вашего воображения... Если она вас не полюбит, значит, у нее вкуса нет, и она глупа, Дон Табаго, поверьте! Я хотел бы, чтоб он объяснил мне, как согласить такой лестный отзыв с его насмешками, но он взял шляпу, засмеялся и ушел, промолвив:

-- Живите, живите!..

Я долго ждал ответа. Ответа не было. Я заезжал к Карецким, но Софьи не было дома. Наконец однажды, часов около двух перед обедом, на двор наш въехала карета с фореитором; мадам Карецкая вышла на тетушкино крыльцо, а за нею Софья в черном атласном салопе и розовой шляпе. Она обернулась, поискала меня глазами по окнам флигеля и, увидав меня, мельком поклонилась и ушла за своей теткой. Я нарочно не шел в дом и, вол-

нуясь, думал: "что-то будет!" Через полчаса Карецкая уехала; я догадался, что Софья останется у нас обедать, и собрался идти в дом, как вдруг она сама в салопе и без шляпки перебежала через двор к Ковалевым. Я растворил свою дверь молча.

Она остановилась; лицо ее было весело.

-- Вы здесь живете? -- спросила она.

-- Здесь...

-- Дайте, я посмотрю в дверь. Как мило!

-- Оно будет еще милее, если вы войдете туда хоть на секунду. Она не отвечала, смотрела на меня, но не в глаза, а рассматривала, казалось, мое лицо, лоб, волосы, как рассматривают вещь.

-- Нагнитесь, -- сказала она и, взяв меня за шею той рукой, на которой не было муфты, поцаловала меня в лоб...

Я хотел схватить ее за руку, но она блеснула глазами, указывая наверх с веселым страхом в лице, и убежала на лестницу к Ковалевым. После обеда, когда она уехала, я послал записку к Юрьеву и донес ему обо всем.

-- Вперед, вперед! -- воскликнул он, -- наша взяла! Только смотри, не зевай. Она должна

быть плутовка.

-- Не проведет! Вскоре после этого Евгения Никитишна уехала в Петербург. Прощаясь, она сказала тетушке: "Ma cousine Карецкая просила оставить Сою с ее дочерьми до весны. Не забывайте и вы ее, Марья Николавна! Я вам буду очень благодарна". Без нее мне стало легче, сам не знаю отчего. Она всегда была любезна; лицо ее при встречах со мной казалось приветливым; она даже целовала теперь не воздух над головой моей, как прежде, а самую щоку или волоса мои, когда я робкими губами прикасался к ее прекрасной руке, покрытой кольцами. "Cher Voldemar! -говорила она, -- ваша походка, ваши манеры очень напоминают мне покойного Петра Николаича. Дай Бог вам быть счастливее его". Кто знает? Быть может, она чувствовала ко мне живую симпатию; быть может, в самом деле она во взгляде, в голосе моем, в походке узнавала Петра Николаевича, не того, которого я знал, а другого Петра Николаевича, того, которого отдельные, мгновенные образы в ее памяти были светлы и согреты ее собственной молодостью, были так

чисты, как те образы, в которых являлся мне добрый отец Василий. Я слышал, что ей трудно жить: дома муж -- больной, неопрятный и убитый, хозяйство, умеренные средства при изящных вкусах и богатом родстве, дочь, поездки по делам в далекий Петербург. Она не боялась говорить о Петре Николаевиче при всех, как о лучшем друге своем, и однажды, когда у Карецких Даша запела не новую тройку, а самую старую: "Вот мчится...", мадам Карецкая вдруг подошла к роялю и сказала резко:

-- Оставьте этот романс! Кто это выдумал его петь? Бедная кузина плачет.

-- Дядя ваш любил этот романс, -- прибавила она, обращаясь ко мне. Но как бы то ни было, мне всегда казалось, что она вот-вот сейчас спросит: "А что ты делаешь с моей дочерью?" -- и без нее стало лучше. Сама Софья повеселела без матери. Она находила множество средств бывать у нас: то англичанка завезет ее к нам обедать, то Ольга Ивановна съездит за ней, то она одна приедет в карете Карецких. Мне было раздолье! Я узнал после, что она к Ковалевым бегала тайком от мате-

ри, и теперь каждый раз просиживала у них целые часы вместе с Дашей. Проходя мимо моих дверей, они всякий раз или тронут замок, или позвонят, или стукнут. Я уж и знаю; посмотрелся в зеркало, оправился -- и за ними. Юрьеву она не слишком понравилась.

-- Не по нас она что-то, -- говорил он. -- Я люблю больше что-нибудь тихое и кроткое, прозрачное, как хрусталь...

Софья находила, что у Юрьева умное лицо, и спросила раз:

-- Вы очень с ним дружны?

-- Очень...

-- Очень, очень?..

-- Очень, очень!

-- Кого вы больше любите, его или меня?.. Я подумал и спросил:

-- Правду говорить?

-- Разумеется, правду...

-- Правду?.. Его.. Разве молодая девушка может понимать то, что он понимает?.. И разве на вас можно надеяться? Заболел, подурнел, поглупел, сделал ошибку -- вы и разлюбите.

Пока я говорил, она, по-прежнему, рассматривала меня внимательно; глаза наши

встретились; мы угрюмо помолчали оба; наконец она встала и, сказавши: "Хорошо, если так, я этого не забуду!", отошла от меня. Ссоры, однако, не вышло никакой. По-прежнему она жала мне руку крепче, чем принято, и в темных углах позволяла мне покрывать ее самыми страстными поцелуями. К несчастью, вначале, не имея как-то раз под рукою Юрьева и не считая еще дела важным, я рассказывал Модесту о тайном пожатии рук; но о поцелуе в дверях не сказал ему ни слова. Для такого доверия он, по-моему, уже не годился; а об руке необходимо было сказать, чтоб он не считал меня за слишком жалкого человека.

XV Иногда, блаженствуя и любуясь самим собой, я сравнивал себя с лиловым цветом, и вот почему. Не слишком далеко от нас, на углу тихого переулка, стоял за чугунной решеткой и палисадником небольшой дом, белый, каменный, одноэтажный, и в нем жил знакомец и ровесник мой -- Яницкий, сначала с отцом и с матерью, а потом один, когда ему минуло девятнадцать лет. Палисадник нравился мне даже зимою: растения, обернутые рогожей, чистый снег без следов на земле, на

полукруглой террасе, на белых вазах балюстрада... По вечерам за готическими окнами спускались тяжелые занавесы; у террасы в углу росла молодая ель, такая густая и бархатистая издали, что я всегда вздыхал, проезжая мимо. Сам Яницкий был некрасив и болезнен, но строен и ловок; глядя на профиль его, несколько африканский, на доброе выражение его одушевленного лица, на его курчавую голову, я часто вспоминал то о Пушкине, то об Онегине. Долго даже не мог я решить, кто больше -- Онегин, он или я. Кабинет и спальня его, казалось, были украшены женской рукой. Ни тени беспорядка, сора, ни одной грубой черты, ни одного тяжелого предмета! Дорогая мебель, ковры, французские книги в сафьяновых и бархатных переплетах с золотыми обрезами...

Фарфор и бронза на столе, И чувств изнеженных отрада. Духи в граненом хрустале...

Стихи эти против воли шептались в его жилище. Чудная жизнь! Обедает в пятом часу; заедешь к нему поутру, он играет на превосходном рояле; мать пройдет вдали по большим комнатам, вся в бархате и горно-

стае... Зайдет отец: как вежлив! как сед! какой здоровый цвет лица! На черном фраке кульмский крест и звезда; сапоги мягкие; улыбка еще мягче. Пожмет руку мне, поговорит с нами и уйдет.

С Яницким я не мыслил; но зато во мне пробуждались такие легкие надежды, такие воздушные думы!

О чем мы говорили с ним?

-- Здравствуй!

-- Здравствуй!

-- Ты был вчера там? Видел ту?

-- Приезжай ко мне обедать en tete-a-tete...

-- Я покажу тебе статуетку, которую привезли мне из Парижа.

-- Поедем! Пойдем...

Все факты да факты!.. Утомишься, наконец, и пойдешь к Юрьеву. "Зачем, -- думал я, -- не найду я до сих пор ни одного человека, который был бы и Яницкий и Юрьев вместе? Где этот человек? Да не я ли уж этот избранник? Конечно, я не так умен, как Юрьев, и не так блестящ и не так грациозен духовно, как Яницкий... Что ж, тем лучше! Если они выше меня на двух концах, то я полнее их. Я как ли-

ловый цвет -- смесь розового с глубоко синим!" Яницкий нередко бывал у Карецкой; я думал, что он имеет виды на одну из дочерей, и, охотно уступая ему старшую или младшую, когда она подрастет, не раз завидовал их доброй матери: "Какие у тебя будут зятья! Счастливая женщина!" Однажды вечером я вздумал пойти пешком к Карецким. Юрьев провожал меня. Когда передо мной растворилась дубовая дверь огромного дома и оттуда блеснули лампы, узорная лестница и колонны, Юрьев сказал: "Прощай, Володя. Иди туда, где светло! да будь смелее... успех тебя ждет везде!"

Я с чувством благородной радости пожал его руку и вошел. Из дальних комнат слышна была музыка. Лиза сидела за роялем; Елена пела, стоя около нее; Софья ходила под руку с Дашей; около них был Яницкий. Даша сказала, что от ее волос сыплются искры в темноте и предложила испытать это на деле. Англичанка позволила. Все были очень рады. Лиза побежала за гребнем, принесла его, и мы пошли в небольшую темную комнату, около парадной лестницы. Стали в кучку; Даша распу-

стила прядь передних волос и начала чесать их гребнем. Искры посыпались -- все были в восторге. "Что это значит? -- спросила меньшая (Мария), -- это не значит ли, что вы сердиты, Даша? Дайте, я попробую..." Я стоял рядом с Софьей; плечо ее, покрытое чем-то легким, было около моего лица. Я осмотрелся: все занята волосами Мари -- нагнулся и поцаловал милое плечо. Плечо дрогнуло, но сама она не шевельнулась. У Мари не было искр. "Нет ли у Сони?" -- сказал кто-то.

-- У меня нет, -- отвечала Софья. -- И что это за скука! Пойдемте отсюда. Яницкий в следующей комнате остановил меня и, пристально посмотрев на меня, покачал головой.

-- Зачем при всех! -- сказал он, -- это слишком смело. Я покраснел и отвечал:

-- Молчи, ради Бога! Я сам не рад жизни, что сделал эту глупость!

-- Во мне ты можешь быть уверен, -- продолжал добрый Онегин, -- а другие? Впрочем, это твое дело...

Он начал тогда хвалить Дашу, говорил, что она напоминает ему Marie Stuart, и спросил, сколько ей лет.

-- Мне двадцать; значит ей двадцать пять, двадцать шесть...

-- Я думал, она еще старше. Но это ничего. Что хорошего в этих ingénues! Не правда ли, они скучны? Опытная женщина гораздо лучше. Меня звали к этим Ковалевым. Что это такое? Впрочем, извини: они, кажется, твои родные? Я сказал ему прямо, как думал о Ковалевых.

-- Это очень удобно, -- сказал он, -- не все же ездить в общество! Когда ты будешь у них?

-- Я? Я могу у них бывать, когда хочу... Да-ша завтра будет там.

-- Во всяком случае, -- прибавил я, сжав его руку, -- молчи, прошу тебя; а я постараюсь помочь тебе во всем... Мои комнаты, если нужно, и я сам. Софьи не было, когда мы вернулись с ним в ту гостиную, где собрались все девицы. Она жаловалась на головную боль и ушла к себе. С этого дня Яницкий стал ездить к Ковалевым. Он держал себя у них так же просто и развязно, как дома и в том кругу, к которому с детства приучила его мать... Только одна разница: у Ковалевых он казался скромнее обыкновенного. С удивлением уви-

дал я, что напрасно так жалел Дашу; я думал, что для нее все кончено, а вышло наоборот: лучшая пора жизни ее только что начиналась... И мне суждено было увидеть ее любимой... Кем же?.. Яницким, кудрявым Онегиным; суждено было видеть ее в роскоши, видеть, как потом она выростала нравственно, по мере ее общественного падения, и как последние дни ее были облагорожены материнским чувством. Но до того еще было далеко...

Пока мое дело шло хорошо. Софья недолго сердилась за мой неосторожный поцалуй. Вниманием, искренним раскаянием, лестью я успел загладить вину, и даже об старой угрозе "не забыть, что я Юрьева больше люблю", не было и слов. Мы все четверо -- Онегин, племянница Ольги Ивановны, другой Онегин и Софья, бывали часто у Ковалевых или ходили все четверо с Олинькой на тот пустынный бульвар, где еще не так давно зябла Матрешка, наблюдая за Модестом и Дашей. Олинька была занята в это время одним высоким блондином с рыжей бородой и не мешала нам. Мы с Дашей понимали друг друга с полувзгляда, не называя ничего словами. Яниц-

кий, иногда, прощаясь, говорил мне:

-- Bonne chance! Понимаешь?..

Все было хорошо; Модест все испортил!..

XVI

Я давно уже перестал говорить Модесту о Софье. Юрьев -- другое дело: он мой духовный отец; в нем я не видал почти ничего морского, не считал бесчестным обращаться к воплощенному разуму, советоваться с ним, говорить ему, что вчера я задал себе вопрос: "У кого больше чувственности -- у женщины, которая знает, каким страданиям она подвергается даже и тогда, когда ее ограждает закон, или у мужчины?" И это я подумал потому, что Софья, дочь строгой матери, отворила мою дверь и обняла меня... Юрьев мог слышать все, знать не только мои, но и чужие тайны; он ни кем не занимался, ни за кем не ухаживал, не имел ни семьи, ни привязанности; он был не человеком, а мой собственный дух, возвышенный в квадрат. Но Модеста я очень боялся с тех пор, как Софья доверилась мне.

-- Что твоя Софья? -- спрашивал он, -- все так же дает руку в темной комнате? Или еще больше?..

-- Бог с ней, -- отвечал я, -- я об ней не думаю. Модест улыбался и молчал. Он видал ее изредка у

Ковалевых, но ни разу еще долго не разговаривал с нею; я тревожился, вспоминая о моей прежней откровенности, но он мало обращал на нее внимания, и я успокоивался.

Раз мы встретились с Софьей неожиданно на вечере. Она была весела, моими приглашениями не дорожила, потому что все кадрили ее были разобраны, едва отвечала мне, и когда я хотел отвести ее от форточки, под которой она села разгоревшись и едва дыша, она сказала мне сурово:

-- Оставьте ваши заботы. Вы, вероятно, хотите показать всем, что между нами что-нибудь есть...

Я был неприятно удивлен и в негодовании уехал домой. На другой день перед обедом Софья перебежала через двор и вошла на мое крыльцо. Замок не шевелился на моей двери... Я прибежал наверх и, улучив минуту, сказал ей:

-- Вы суровы? Вы сердитесь за мою вчерашнюю заботливость? Мраморный румянец за-

играл на щеках, и в тех самых глазах, которые недавно глядели на меня ласково, выразились надменность и гнев.

-- Ваши поступки меня обидеть не могут... - сказала она.

-- Вы хотите унижить меня... Но моя совесть не упрекает меня ни в чем, и я знаю, чего я стою...

-- Чего вы стоите -- не знаю. Я знаю, что я сама ничего не стою. Я была глупа, поверила вам. И кому вы сказали, кому!

-- Кому? -- спросил я с изумлением.

-- Вашему cousin Модесту. Он, дня четыре тому назад, делал такие намеки... улыбался. Платье ему мое понравилось; он сказал: "оно к вам идет" и так противно спросил: "il vous Га dit?"

-- Клянусь вам Богом! Вот моя рука... Ему! Я ни слова. Вы не верите... Вы не верите... Хорошо! Так вам же будет хуже!..

Она молча обвела меня глазами с ног до головы. (Как нехороша показалась она мне в эту минуту!) Я чувствовал, как кровь у меня подступила к лицу, как злоба стеснила мне дыхание.

-- Если бы вы знали, -- возразил я ей, дрожа от бешенства, -- как нейдут к вам эти гордые взгляды, вы бы сами отказались от них. Советую вам быть скромнее. Она отошла от меня, а я велел запречь сани и послал за Юрьевым. Он хохотал, когда я жаловался, хохотал добродушно; но я прочел в этом смехе презрение.

-- Я ее так сильно начинал любить! -- сказал я.

-- Насчет этого, -- заметил Юрьев, -- мы еще подумаем, любил ли ты ее или нет?..

-- Я чувствовал к ней большую нежность, я жалел ее уже давно... Мать ее строга, отец больной, она небогата.

Юрьев вздохнул и покачал головой.

-- Умный человек, -- продолжал я, -- не может не быть любящ: он знает, что любовь лучшее украшение молодости!

-- Это что-то слишком глубоко для меня, -- отвечал Юрьев, -- нет, ни ум, ни доброта, ни нежность не нужны для любви. Нужна любовь... Любовь может быть зла, груба... Она кусается иногда. Не поэзия любви нужна любящему -- нужен сам человек, как воздух, как кусок

хлеба... Высокое, брат, часто близко к гру-  
бому и меряется им, граф!..

-- Зачем же она обвинила меня даром? за-  
чем не дослушала... Чтоб я Модесту... Сначала  
точно об руке, но после!..

-- Ой ли, брат? уж не сказал ли ты ему все-  
го... Ой, сказал! Ой, сказал!..

-- Молчи! Молчи, или я...

В исступлении я показал ему руку. Он вы-  
нул свою из кармана.

-- За чем же дело? я готов.

-- Ступай вон... вот двери... Юрьев, не торо-  
пясь, взял шляпу, сдул с нее пыль, надел пе-  
ред зеркалом, отыскал трость в углу. Я чув-  
ствовал, однако, что он взволнован. Наконец  
он ушел; я проводил его глазами из окна. Гу-  
бы его были сжаты, но он шел спокойно,  
только что-то бойчее обыкновенного глядел  
на прохожих. Я не мог остаться дома и уехал в  
кондитерскую. Но и там преследовало меня  
презрение моих двух лучших друзей.

XVII Омерзение, жестокое омерзение чув-  
ствовал я при одной мысли о духовной нище-  
те моей! Эти два существа, которые только  
что начинали вырастать перед нищенской

душою -- они оба отвергли меня. На что мне флигель мой, шолковый халат нового покроя? На меня пахнуло мертвым холодом от этих немых стен, от всей семьи, от мира, от себя. Разве того, на кого, изнывая в бессилии, глядела теперь совесть моя, того хотел я ввести в эту обитель, по воле одинокую и по воле шумную? Нет, не презренного мальчишку и не вдруг одряхлевшего без зрелости человека... Мой Володя Ладнев был не таков! Он был скромно мыслящ, осторожен и тверд в делах, а на добро и защиту слабого отважен, как тигр... Конечно, он любил себя это ничего; но он мелок не был, он был спокойно горд, под наружной небрежностью скрывал пламенную душу и высокий ум; он разумел "ручья лепетанье, была ему звездная книга ясна", и хотя не было у него близко "морской волны", но он умел видеть тайную жизнь везде -- и зеленая плесень пруда дышала перед ним. О, Володя мой, Володя мой! Милый Володя! Где ты? И вот, едва только открылась перед ним дверь жизни, едва пахнул на него свежий воздух любви, он разлетелся в прах, как старый труп, как одежда трупа, давно без движения

лежащего в склепе! И как мог противопоставлять я себя тем легкомысленным людям, которых промахи без полной кротости и страдания без достоинства наводили улыбку на мое лицо? Непоследовательная Даша, Модест -- актер перед самим собою, с которыми еще непостижимо для грубого рассудка связана была Настасья Егоровна Ржевская... Все люди громких слов и жалкого исполнения, люди эффекта и позорных слез, и опять эффекта и снова слез! Где вы, мои собратья? Зачем я покинул вас и задумал было идти одним шагом с теми, от которых веяло на меня осторожностью и силой? Разве товарищ я Юрьеву, "мужу разума и чести", у которого самая лень царственна? Товарищ ли я ему оттого, что страдательно быстрый ум мой удобен для стока его мыслей? Разве пара я энергической Софье? В ней связано живут и такт и решимость, доходя то до хитрости, то до благородной удали... Сама Ольга Ивановна! Пускай она скучна, пускай до сих пор говорит Ивангое, а не Айвенго (мелочь моя и в этой придирке видна!), но разве не подаст она руку совсем иному разряду личностей? Правда, ходит она,

как племянница, с забавной гордостью, и псевдоклассик в душе, но во всем другом раз-  
ве она Даша? Разве она не работала всю  
жизнь свою, разве она не постояла бы за себя,  
как делец, не поборолась бы хоть с самой  
Ржевской-матерью? А Даша? По крайней ме-  
ре, она была обманута Теряевым, страдала от  
благородного доверия; ему стыдно, а не ей...  
Теперь она любима привлекательным Яниц-  
ким, она украшена им. И он сам, Яницкий?..  
Золотообрезные книги, пустые разговоры,  
бальный идеал!.. А как он аккуратно ведет  
свои любовные дела! Никто над ним не смеет-  
ся; и как честен и верен!.. Не только Софья не  
слыхала от него ни одного лишнего слова,  
мне он не делал намеков; кроме "bonne  
chance!" ничего не говорил, даже не произно-  
сил ее имени с лукавой улыбкой! Итак, из вы-  
сокого эклектика, соединявшего в себе жар  
неопытности с мудрой теорией жизни, лег-  
кость с благоразумием, доброту с здравым  
эгоизмом, религию с наукой - что вышло? Ис-  
чезло живое воплощение его -- поэтический,  
воздушный Владимир Ладнев, и остался наме-  
сто его не труп, конечно (боль была страшно

сильна), а так какая-то формула, понимающая все, но без всякой личности, без всякой самобытной, движущей силы инстинктов. Не Онегина уже я видел перед собою, не Ральфа, не Бенедикта, даже не ловкого Раймонда де-Серси, а Ноздрева, Ноздрева, трижды Ноздрева!.. Хоть и шевельнется иногда в душе мысль: а может быть, они оба, и Юрьев и Софья, неправы? Может быть, один просто глумился, а другая капризничала? Она не дала мне объясниться оскорбительным тоном, отбила охоту подробно оправдываться. Он оскорбил меня дьявольским смехом, не дождался доказательств, не поверил мне, и что за манера: "ой, сказал! ой, сказал!" Но можно ли доверять себе? Факты за меня; да это все вздор! Скажи я это Юрьеву, он засмеется и ответит: считать себя правее других -- общечеловеческая штука! Этак, пожалуй, будешь чорт знать с кем наравне и никогда до нравственной высоты не дойдешь!

И кого бранить? Везде горе, слезы; на улицах грязь, и снег все тает и бежит, на дворах все гниет. Дома тетушка зеваает так долго и крикливо; веки у Ольги Ивановны все еще

красны; Даша печальна; Модест ищет места. Деньги у него все почти вышли; в плече ревматизм; сам еще больше прежнего исхудал... Я не могу бранить его за неудачную любезность с Софьей; он еще раз отказался от денег, которые я хотел выпросить для него у тетушки. Он принужден целые дни ходить по Москве; он бегал даже, заплетая ноги, за маленьким сыном богатого блондина с рыжей бородой, который гуляет по бульварам с Олинькой Ковалевой. У этого блондина родной брат откупщиком и по откупу есть места; и Модест не только бегал за сыном его по гостиной у Ковалевых, он пищал, картавил, играя с ним, так что я принужден был встретить его взгляд строгим взглядом. Да то ли еще делается! Он еще находит себе и обеды у знакомых, и ужины. А бедная Катюша? Она ест одно простое блюдо дома, и целый день одна. С тех пор, как Софья стала реже к нам ездить и не говорить со мной, с тех пор, как Юрьева я вовсе не вижу, я бегу из дома. Ссоры нельзя скрыть, а вопросы, шутки и сострадание ужасны! Куда бежать? Поеду в номера, к бедной Кате, вспомнить с нею старину за ста-

каном чая. А чтобы ей было веселее, куплю ей шолковый платок и возьму фунт сахарного печенья на Кузнецком Мосту.

Стучусь в дверь номера... Катюша отворяет... Волосы ее мокры и распущены; она худая и бледна. Она даже не улыбается мне.

-- Здравствуйте, -- говорит она сурово, -- а я только что из бани.

-- Ты что-то переменялась, разве все кончено? -- спрашиваю я.

-- Давно уж! А вы не знали? Девочка...

Лицо ее на минуту просветлело, но потом она опять стала грустна и продолжала:

-- Отнесли ее в воспитательный дом.

Она отходит к окну и, откинув назад голову, чешет сама свою длинную косу и красиво взмахивает ею.

-- Однако есть еще охота нравиться, -- замечаю я шутя... -- Вот косой как! Надо было видеть, как она рассердилась.

-- Оставьте меня, пожалуйста, я ни в ком не нуждаюсь... Вам легко смотреть... Да знаете ли вы, что он говорил? Он говорил, что никогда не позволит отдать ребенка в воспитательный дом, что он будет оборванный сам

ходить, а мне и ребенку хорошо будет. Вишь ведь какой чувствительный -- скажите!.. А теперь скажи-ка ему... Как ведь закричит!.. "Ты меня не понимаешь!" Зачем же он такую необразованную брал?.. Я ведь к нему не просилась.

-- Да я-то чем виноват?

-- Ах, оставьте меня!.. Вы смеетесь, а я здоровье все свое потеряю с ним тут... Вот что!

Приходит Модест. Он очень весел, поет, заигрывает с Катюшей, но она не отвечает ему.

-- *Une petite coquetterie, fort gentille*, -- шепчет мне Модест. А мы вот скоро с Катериной Осиповной уедем, Владимир Александрыч... да-с, уедем! Не будет нас в Москве; не за кем вам будет ухаживать, Владимир Александрыч!.. И прекрасно! отбивать жен у своих друзей не годится!

Катя молчит.

-- Ты скоро едешь? -- спрашиваю я.

-- Да, место есть... на днях все решится. А ты полюбуйся, душа, на характерец Катерины Осиповны... Вот так-то она меня каждый день угощает!

-- Стыдились бы, стыдились бы говорить!.. -

- начала было Катюша; но, встретив его холодный, презрительный и даже угрожающий взгляд, отвернулась молча к окну. XVIII

Я вытерпел около двух недель: не ехал ни к Юрьеву, ни к Софье, обедал каждый день то у Мореля, то у Шевалье, проиграл рублей сто на бильярде; пил шампанское с такими молодыми людьми, которых имена даже не всегда верно знал, -- а все не было легче. Яницкий отказывался от всех этих пиров и партий: все сидел дома по вечерам. Один раз, впрочем, он позвал меня к себе обедать. Мы ели вдвоем: я был не разговорчив в этот день, он задумчив.

-- Послушай, -- сказал он наконец, -- ты влюблен в Софию Ржевскую и поссорился с ней? Мне говорила Dorothee.

(Прежде он говорил ваша Dorothee, а теперь просто Dorothee). Я, разумеется, не мог объяснить ему, что ссора с Юрьевым для меня ужаснее всех любовных ссор.

-- Да; она мне нравится, и мы поссорились; а что? -- спросил я.

-- Если ты не хочешь быть откровенным, так я покажу тебе пример... Ты знаешь, что я хочу увезти Dorothee. Уж мы условились. Она

собирается.

-- Как! Что ты? Когда?

Яницкий засмеялся и взял меня за руку.

-- Когда она хочет... Сегодня, завтра... Я по-  
дорожную взял. Дорога теперь ужасная, но  
это не беда...

Я долго не мог прийти в себя от удивления,  
радости, жалости и уважения к Даше. Хитрец  
дал мне распечатанную записку и позволил  
прочсть ее: "У меня все готово. Если хотите,  
придите сегодня вечером с Вольдемаром ко  
мне". Я после догадался, что он, открывши  
мне секрет, заставил ее быть решительнее. Я  
примчался домой и отдал записку.

Даша и улыбалась, и вздыхала, и глядела  
с таким наивным беспокойством, что я вдруг  
полюбил ее.

-- Идем, -- сказала она наконец. Тут уж и я  
испугался за нее.

-- Не остаться ли? -- спросил я, -- подумайте,  
Даша, что вы делаете?

-- Что делать! Уж я думала, думала...

И сама торопится, надевает шляпку, руки  
дрожат; я беру узелок; она прячет шкатулку  
под салоп. Сделала шага два и села опять на

диван.

-- Ноги дрожат... -- сказала она.

-- Идти, так идти, а то будет поздно.

-- Пойдемте.

Спустились с лестницы. На дворе подмерзло, и первые звезды уже блещут. В переулке тихо; извожников нет.

Я смотрю на свою бледную, высокую спутницу и не верю глазам своим.

-- Да как же это у вас так скоро?..

-- Ах, -- отвечает она улыбаясь, -- какое скоро! Давно уже об этом речь... С того маскарада, в котором вы так долго меня искали...

-- И вы не боитесь?

-- Сама не знаю: и боюсь и не боюсь! Я его так люблю... Не правда ли, как он мил!

-- Я уважаю вас, Даша!

Даша замолчала и до самого угла шла молча, с светлой гордостью в лице. Остановились.

-- Прощайте, Вольдемар! Простите мне, если я чем-нибудь...

-- Вы... вы мне простите, -- отвечал я, с жаром обнимая ее и поднося потом к губам ее душистую перчатку... -- А как быть дома?..

-- Никак... скажите, что ушла, что уж уехала с Яниц-ким... и только... Что мне за дело!.. Прощайте!

-- Прощайте! Она спустила вуаль, и я видел сам издали, как она вошла к Яницкому в ворота. Выждав еще минут с пять, я прошел мимо дома: сквозь шторы светился огонь в его кабинете; остальное все было темно.

Такой факт нельзя не передать Юрьеву! Ссора забыта, о достоинстве и помина нет; дело в том, чтобы узнать его мнение, а остальное все вздор, и мы с ним под дюжинные законы не подходим!

Он принял меня очень любезно, и о старом не было и помина.

-- Я говорил тебе, что она молодец! -- сказал он про Дашу. -- И выбор ничего, даже хорош... А Ольга Ивановна что? Ее, бедную, жаль как-то стало... На другой день я еще раз убедился, что Юрьев всегда прав: Ольгу Ивановну точно жаль. Я не стану описывать, что делалось с нею и отчасти с тетушкой, когда они узнали об отъезде Даши; вспомню только, что говорила мне Ольга Ивановна, стоя передо мной в своей спальне. Она говорила без жестов, без

натяжки, тихо и самым искренним голосом:

-- Вот до чего мы дожили, Вольдемар! Вот до чего я, бедная, дожила! Обмануть меня! Зачем? Что я ей за злодейка была?.. Да если уже страсть ее увлекла, приди, признайся... Обмануть! И как бездушно! Третьего дня -- смотрю: она свои вещицы фарфоровые в шкатулку укладывает. Я ей говорю: "Даша, что ты это делаешь?" -- "Я хочу подарить их". -- Мне стало больно. Половину их я отдала ей, когда она еще ребенком была; старинные вещи... Ведь и мой отец, Вольдемар, имел состояние, и мы бы могли жить как другие, если бы не несчастная страсть его к картам... Да, о чем я говорила?..

-- О фарфоровых вещах, -- отвечал я. И мне вздохнулось.

-- Да... мне очень стало больно смотреть на эти вещи... Как будто сердце мое чуяло! Бог же с ней, если так... Желаю ей счастья, а обо мне она не услышит больше! Я свое дело делала, и неблагодарность для меня гнуснее всего... Сколько занятий, сколько труда, сколько ходьбы было за ней, когда ее несчастная мать умерла!.. Да знаете ли вы, что если она жива,

так она обязана этим мне... А потом сколько пренебрежения от богатых людей, от их лаке-ев я перетерпела, выводя ее в люди! А? Вы понимаете это... Ведь вы думаете, что я всегда была бездушная, старая девка? Нет, и я была молода, да знала стыд и в долге, в труде находила отраду... Да не стоит об ней и говорить!..

Глаза Ольги Ивановны после Теряева болели, а теперь стали еще хуже. Тетушка на другой день призвала меня к себе после обеда. Она лежала на диване и, когда я вошел, разве-ла только руками и сказала:

-- Ну, домок мой стал -- нечего сказать -- до-мок! Притон разврата, а не дом! Ты-то, ба-тюшка, как туда замешался? Везде твоя срезь... Расскажи, как все это было. Я начал го-ворить, что знал о знакомстве Даши с Яниц-ким, старался оставлять в стороне Ковалевых, потому что они были мне нужны для свида-ний с Софьей, но тетушка поняла, что Даша видалась свободно с Яницким у них, и вос-кликнула:

-- Ох, уж эта мне халдейка, Олинька!

Потом стала дремать, и я еще не кончил, как она уже заснула. Одна новость сменяет

другую. Модест решительно едет служить по откупам и Катюшу пока не берет с собою. Он устроил ее у Чепечницы Петровны и обещает выписать после к себе. Серафима Петровна живет в самом нижнем этаже деревянного домика, живет бедно и не очень чисто, почти под землю... У Модеста две жакетки, много цветных летних галстуков, два сюртука, бич, новая трость, зеленый халат с красной оторочкой и кистями. Ездит он на дорогих извозчиках. Ни на лице, ни в словах его я не могу прочесть угрызений совести. Светел и тверд! Он случайно угощает меня чаем в трактире, сидит на диване так прямо, разливает чай так ловко и весело, синее трико на пальто его так толсто и дорого, что я решаюсь спросить у него: "значит, ты на ней не женишься?"

Он улыбается так, как будто давно ждал этого вопроса.

-- Пусть меня осуждают, -- говорил он, -- я знаю, кто и как, и за что меня осудит. Наизусть знаю. Но у нее характер стал невыносим... Спроси у нее, пусть она по совести тебе скажет: обязан ли я на ней жениться... Она знает мой образ мыслей и свой характер.

Проводив его, я заехал к Катюше и спросил у ней, каково ей здесь?

-- Да ничего. Мало только денег оставил. Мне-то Бог бы с ним. Да вот женщина эта очень зла, со свету сживет, если не достанет...

-- Что ты? Чепечница Петровна зла?

-- А вы думаете что? Бедовая! Ее муж через ндрав ее даже бросил... Да где ему обо мне думать, когда он об родной дочери об своей, поверите ли, и не спросит! Видите ли, платья себе нашил? Вот она любовь-то его... Застрелиться хотел... Я даже, вам скажу, себя ни сколько не жалею; меня Бог уж за одного за вас должен наказать, за то, как я вас обманывала... А только обидно видеть, что благородный человек, а носки цветные в магазине французском купил, да самому уж видно стыдно стало, спрятал их от меня потихоньку в чемодан. Она встала и принесла из другой комнаты четыре пары носков.

-- Вот это я вязала -- так не взял. Не может толстых носить... Вдруг кожа нежная стала... Не возьмете ли вы?.. Возьмите-ка на здоровье, в память старой дружбы!.. XIX

Я не помню ясно нашей встречи с Софьей

после ссоры и первых слов, которыми мы обменялись. Но недаром же у меня осталась память об упрямстве ее... Верно, мне было очень трудно возвратить ее к добрым отношениям. Весна приближалась; пришла и Пасха; Евгения Ники-тишна воротилась из Петербурга; Даши не было; не для кого было и Софье ездить часто к нам в дом. Мать ее узнала, что она познакомилась без нее с Ковалевыми, и сказала ей, как я после узнал: "бывать у них можно, но чем реже, тем лучше, и долго не сидеть!" Раз, однако, после обеда, Ольга Ивановна заехала к Карецким и привезла оттуда Софью. У Ковалевых были гости. Все пошли в наш маленький садик, где зелень еще не распустилась, но было уже сухо и тепло.

Начали играть в горелки. Юрьева не было, и я был очень рад. Хотя я уже давно был развлечен работой к экзамену и Мечтами о новых встречах летом, однако все-таки видел в

Софье что-то родственное и привычное и пригласил ее бегать со мною. Я долго не уступал ее никому, старался быть вежливым, предупредительным и скромным, чтобы обновить себя в ее глазах, и ей, кажется, это нра-

вилось. Я помню ее ласковые взгляды, дружескую улыбку и слова: "Я вас давно не видала!" Я веселился, играл от всей души. Гореть пришлось Ковалеву; мы с Софьей бежали. Ковалев, споткнувшись, стал на оба колена; Софья зацепилась за него и со всего размаха упала ничком. Я бросился к ней и поднял ее. Она смеялась, но была смущена, и шолковое платье ее разорвалось. С содроганием увидел я, что одна из ладоней ее сильно ссажена. Я хотел бежать за водой, но Ольга Ивановна увела ее в дом, обмыла ей платье и обвязала руку. Они вернулись, и мы продолжали играть. Вечер был прекрасный. Ковалевы предложили проводить Софью пешком, когда другие гости уедут. Пошли; Ковалев шел впереди с женою и Ольгой Ивановной, я за ними вел Софью под руку.

Я помню, что спросил у нее: "болит ли рука?", а она спросила: "вам жалко разве?"

-- Нет, я рад, -- отвечал я, -- потому что теперь жалею вас... Я смелее на вас смотрю... Я бы желал, чтобы вы почаще были несчастливой, тогда я мог бы доказать вам чем-нибудь мою дружбу.

-- Я тоже бы хотела доказать вам мою дружбу...

-- Право?..

-- Право. Научите, что мне для вас сделать?.. Я подумал...

-- Что сделать?.. Знаете ли что? Вы можете сделать для меня много. Я буду с вами откровенен. Ваша кузина Лиза мне очень нравится... Я всегда был склонен к семейной жизни. Если бы года через три, когда я кончу курс, жениться на ней... Она, кажется, такая тихая, добрая, и за ней тысяч двадцать серебром дадут... Надо быть положительным...

Софья засмеялась.

-- Она вам нравится? Что ж вы мне давно не сказали?.. Лиза очень добрая... Я бы очень желала для Лизы такого мужа, как вы... Все-таки вы, я думаю, лучше многих... Кто, кроме вас, скажет такие вещи! Какие вы смешные!.. Она с очаровательной веселостью заглянула мне в лицо.

-- А меня уж совсем не надо? -- и слегка так мило махнула рукой, что я пришел в восторг.

-- Вас не надо? -- отвечал я, прижимая к себе ту руку, которая лежала на моей... -Послу-

шайте... Не будем гоняться за многим... Вы помогайте мне у Лизы, и не бойтесь, я буду ей верный и добрый муж... боюсь вам! А пока отчего не пожить? Любви, разумеется, не надо... Но вы так умны, так милы, что с вами и без любви хорошо!

-- Вот, если бы вы всегда были так открытвенны! Как это к вам идет!.. Как же мы будем с вами теперь?.. Дружба это будет?..

-- Зачем эти названия... Будем так себе... Будем рады, когда встретимся, не будем мешать друг другу; вот это иногда...

Я указал на губы.

-- Нет, это уж не дружба...

-- Это не простая дружба... Это amitie poetisee... Умоляю вас...

-- Редко, очень редко...

-- А как?

-- Раз в год.

-- Нет... два раза в неделю.

-- Раз в месяц... Ни за что чаще не хочу...

-- Хорошо и это, -- отвечал я, подавая ей руку. Мы расстались весело, и я задыхался от умиления, радости, гордости, возвращаясь домой. Через неделю она уехала с матерью в де-

ревню и, прощаясь, звала меня в августе к Колечицким.

— Я постараюсь быть там непременно, если меня пустят... Будем танцевать там и ездить верхом.

Я взял слово с нее, что в кавалькадах она будет моей дамой, и пригласил ее на мазурку.

Юрьев тоже скоро после этого уехал с своими хозяевами в деревню, а дня через два после него и тетушка с Ольгой Ивановной пустились в путь. Мне оставалось кончить экзамен и ехать в Подлипки. Хорошо было тогда!..

XX

Теперь я рассказал вам все, что со мной было до встречи с Пашей. Вы понимаете, как мне было и грустно, и просторно в Подлипках; как я отдыхал с Пашей, после Софьи Ржевской и Юрьева.. Когда Паша уехала, я не то чтобы забыл ее, а думал, что все уже конечно, и погрузился в чтение, прогулки, лень и с удовольствием собрался в конце июля к молодым супругам Колечицким, к которым звала меня Софья. У них и без нее было приятно. Дом у них двухэтажный, каменный, белый, старинный сад, пруды, много лошадей, лихая

псарня. Приглашали они только молодежь. Хозяин дома -- отставной конногвардеец, белокурый, красивый и насмешливый; жена собой похуже его, но стройна и мило капризна; лицо ее может очень нравиться. Одевается она отлично; очень радушна и любезна у себя в доме. Муж образованнее ее; с ним и поговорить не скучно, и сам он сказал один раз при мне:

-- Главное, надо любить все... Я все страстно люблю .. Читать мне предложат -- я умру над книгой; охоту обожаю, верховую езду -- тоже... Политика, хозяйство.. Я все, все люблю!..

Лучше всего было то, что они ни не стеснялись и друг другу не мешали, как Ковалевы, только в другой форме. Одно время они были моим идеалом, именно тогда, когда я с Клашей сиживал на диване и уговаривал ее идти за другого, а меня сделать счастливым.

Отпуская меня к Колечицким, тетушка приказала мне заехать в монастырь, который был верстах в пяти оттуда, и отслужить панихиду по родным: там были похоронены отец мой, дед, мать и дядя, муж Марьи Николаев-

ны. Часов в одиннадцать утра я приехал к молодым супругам.

-- Все господа у обедни, -- сказал слуга. Переодевшись, я вышел в пустую бильярдную, постоял

на балконе, пересмотрел картины на стенах, потом начал от скуки толкать кием шары. Вдруг стеклянная дверь из сада за спиной отворилась со звоном... Софья стояла на пороге. Никогда, ни прежде, ни после, не была она так хороша! Она пополнила за лето; на лице легкий загар и румянец; темные волосы острижены в кружок и завиты; глаза расширились и заблестали, когда я, онемев от радости, обернулся к ней. Платье на ней легкое, пестрое (с удивительным вкусом пестрое!), везде оборки, кружева... Она сложила зонтик и улыбнулась, когда я бросился к ней.

-- Как это вы здесь? -- спросила она.

-- И вы могли думать, что я не приеду, когда вы сами звали меня!

-- Разве звала? Я не помню.

-- А я не забыл, -- отвечал я грустно. Она села на диван и, встряхнув кудрями, сказала:

-- Как я голодна, если б вы знали! Скоро ли

это есть дадут? Обедня эта такая долгая; я на-силу ушла.

В эту минуту все общество со смехом под-нялось на крыльцо за стеклянной дверью. Первый вошел мсье Саль-вари, бледный и худой москвич, с густыми рыжими бакенбарда-ми. Он вел под руку Колечицкую... Я встречал этого Сальвари в Москве, и мне всегда не нра-вились его ничтожные черты, немного кри-вой нос и все движенья, развязанные без про-стоты. Если он шел с тростью по улице, то непременно судорожно, сурово и наискось подавшись вперед; или зяб, когда не было хо-лодно, поднимал воротник у пальто; в кругу мужчин клал ноги на стол или упирал их в окно; в мазурке, сидя около дамы, старался поставить стул как-нибудь спинкой к ней, ру-ки положить на спинку, а бороду на руки; ста-нет у притолки, стеклышко в глаз, большие пальцы засунет под мышки, за жилет, ногу заплетет за ногу; противно "фредонирует", в танцах прижимает даму к себе донельзя, чуть не кладет ей лицо на голову, если она мала (сам он среднего роста), на плечо, если высо-ка. Я видал его и пьяным в маскарадах, и

знал, что он развратен, и не говорил с ним ни слова, ненавидел его.

Входя в бильярдную, Сальвари и хозяйка дома продолжали начатый спор...

-- Не говорите мне о правильных чертах! -- воскликнул Сальвари.

-- Я бы желала быть красавицей! -- отвечала Коле-чицкая.

-- Вот для примера, -- продолжал Сальвари, -- вы и m-lle Sophie: и у вас, и у m-lle Sophie нет ни одной порядочной, строгой черты, а ensemble ваш может свести с ума. Не правда ли, m-lle Sophie?

Он подошел к Софье, а я к хозяйке дома. За завтраком и за обедом он сидел около Софьи, болтал без умолку по-французски, наливал ей воду и не сводил с нее глаз.

После обеда шел небольшой дождь, и вздумали танцовать. Софья была приглашена на две кадрили; я взял ее на третью. Танцуя с Колечицкой, я старался не показывать вида, что грущу; но она все-таки заметила.

-- Вы рассеянны, -- сказала она. -- Не влюблены ли вы?

-- Нет, -- отвечал я, -- я даже не знаю, верить

ли или нет в существование любви...

-- Вы разочарованы? -- спросила она с материнской улыбкой.

-- О, нет... Я только безочарован! И вздохнулось что-то. Проклятый Сальвари танцевал с Софьей. Наконец очередь дошла и до меня.

-- Я очень рада, что вы здесь, -- сказала она, подала мне руку, когда можно было сделать это незаметно, и ушла на другую сторону. Я дождался и, покружившись с ней, отвечал:

-- На что я вам?

-- Как на что? Я рада...

-- Как другу? Глаза ее лукаво улыбнулись.

-- Как вы сами хотите...

-- А этот господин?

-- Какой господин?

-- Этот бледный и кривоносый господин с отвратительным шиком?..

-- Чем же он вам не нравится?.. Он очень умен и интересен. Я сейчас говорила ему, что я желала бы влюбиться, что так жить скучно. А он мне говорит: "влюбитесь в меня, я буду очень рад".

Я стиснул зубы и, помолчав, сказал:

-- Значит, я напрасно приезжал? Софья

взглянула строго.

-- Вы, кажется, обещали не иметь никаких претензий?

-- Я не имею их... Но, впрочем, это в самом деле глупо с моей стороны! Извините... Скажите, будут здесь кавалькады?

-- Верно будут... Я буду с вами ездить... Сдержу обещание, сдержите и вы... Часов около девяти вошла полная луна и так ярко осветила все, что одна из дам предложила всем ехать верхом. Колечицкий стал отговаривать, уверял, что лошади будут пугаться и бить. Вообще мужчины неохотно поддавались на это, но воля женщин взяла верх. Колечицкая сказала мужу:

-- У тебя много лошадей; выбери смирных для нас, а ces messieurs могут ехать на каких хотят.

Спрашивали, кто из женщин хочет непременно ехать... Хотели все. Сальвари обратился к Софье и спросил:

-- Могу я ехать с вами? Во мне все замерло.

-- Я обещала m-г Ладневу, -- отвечала она, -- я с ним уж ездила прежде... Сальвари шаркнул и, отступя, сделал мне рукой в сторону Со-

фьи, как будто хотел сказать: честь и место! Я сухо поклонился. Такой отвратительный! Шестнадцать лошадей стояли у крыльца. От радости я едва сошел с лестницы; луна светила еще ярче прежнего. Дорога была видна, как днем; каждая рытвина, каждая кочка отделялись на лугу перед домом.

Пустились в путь. Что за блаженство! Я выбрал нарочно лошадь побойчее; она три раза встала на дыбы около Софьи, когда я садился на нее. "Постой же, -- думал я, -- теперь ты не будешь презирать меня! Не подумаешь, что у меня нет характера".

Сначала все шло прекрасно. Мы ехали с Софьей впереди; за нами Сальвари и Колечицкая; за ними остальные. Мы изредка перебрашивались словами и шутками с другими, но между собой почти не говорили. Софья немного боялась; она смотрела то на уши лошади, то на дорогу; я не хотел начать первый. Выехав за чудный еловый лесок, мы стали спускаться с горы. Дорога была вся в промоинах. Лошадь Софьи вдруг заупрямилась и повернула назад. Я хотел схватить ее повод, но мой вороной пятился в сторону и приподнял-

ся слегка опять на дыбы. Наконец я справился с ним, бешено взял его в шенкеля, ударил и подскочил к Софье.

-- Оставьте! оставьте! -- закричала она, -- ваша лошадь пугает мою... оставьте! Я уеду назад. M-r Salvary!

Больше всего боялся я срама. Когда тут доказывать ей, что я гораздо лучше знаком с эквитацией, чем мерзавец Salvary?.. Схватил за повод, рванул за собой; мой конь перескочил через рытвину, ее лошадь за ним... Софья вскрикнула.

-- Нет, это ни на что не похоже! -- сказала она, такая страшная лошадь. Я уеду... M-r Salvary!

-- Молчите, -- возразил я, -- молчите, не зовите этого... Мы спустимся! Sophie! Ради Бога!

-- M-r Salvary!

-- Боже! Какой пронзительный ваш голос! Не тяните поводьев. Да молчите же. Я позову вам его...

-- Я боюсь остаться одна. Но я не слушал ее, поскакал и встретил в роце Salvary, который уже сам спешил к ней на помощь (Колечицкая услала его от себя). Мы поменялись дама-

ми. Печально и постыдно кончился для меня этот вечер. Я не мог владеть собою и ни слова не говорил с Колечицкой.

-- Вы поссорились с Соней, я это вижу, -- сказала она.

-- Нимало! А вот что... Я завтра рано уеду... Она упрашивала, умоляла меня, назвала *mon charmant cousin*, дразнила Софьей, но я решил ехать, и после шумного ужина, который для меня был и длинен и несносен, простился с доброй кузиной и ее мужем и ушел спать потихоньку, умоляя их не мешать моему отъезду...

XI На всех окнах были спущены маркизы и шторы, и все в доме еще спало, когда я сел в коляску.

-- Домой! -- сказал я кучеру. Мы поравнялись с церковью; кучер снял шляпу и помолился, и я вспомнил о панихиде, которую мне велела тетушка отслужить мимоездом над могилою родителей.

-- Нет, не домой, Григорий, а прежде в монастырь заезжай. Я сказал вам уже, что монастырь этот в пяти верстах от имения Колечицких. Старая кирпичная ограда, церковь с

большой и звонкой лестницей под сводами, березовая Роща за стеной -- все здесь было давно мне знакомо. Я послал за иеромонахом и бесчувственно оперся на решетку Родительской могилы... Над отцом лежала плита, над матерью стоял большой крест из черного камня, и он обращен был ко мне не той стороной, где написано имя ее, год и звание, а той, где золотыми буквами вырезаны (по желанию самой покойницы) слова: "Господи! прости грехи молодости моей и незнания". Слова эти я давно знал, но они были до той минуты бездушны для меня.

Солнце начинало греть. Пришел отец Мельхиседек и начал... Он пел тихо, слабым, старым голосом; дьякон густо и грустно вторил ему; кафельный дым быстро исчезал в воздухе; стрижи визжали; кладбище зелене-ло... Я зарыдал, припав к решетке, плакал долго, до тех пор плакал, пока отец Мельхиседек не кончил. Тогда я подал ему деньги и благодарил его; монах взглянул на меня печально и спросил: "Домой к тетушке отселе?"

-- Домой, отец Мельхиседек...

-- Почаить не зайдете ко мне?..

-- Нет, уж надо домой...

-- Ну, с Богом!

И старик благословил меня. Мы ехали тихо; лошади утомились от зноя. Солнце было уже невысоко, когда мы стали подъезжать к Подлипкам.

-- Что, если б Паша была здесь? -- подумал я. Слезы на могиле родных смягчили меня, и эта близость смерти снова пробуждала жажду наслаждений... Вместе с тем я видел немой упрек на всех знакомых предметах, попадавшихся мне по мере приближения к усадьбе с северной стороны, где роци долго скрывают ее от глаз. Дуб, наклоненный над вершиной, у пруда... второй раз скошенное сено лежало мирными рядами на зелени, как бы помолодевшей от покоса. Прачка Фекла, которая, нагнувшись над водою в том месте, где стояли опрокинутые наши вязы, била вальком... послеобеденная пустота двора... все молча взывало ко мне: "Зачем ты покинул нас для тщеславных забав? И за то, что ты предпочел жизнь чужую жизни всегда тебе родной и даже подвластной тебе во многом, за это Бог наказал тебя!.." Мы быстро въехали на двор.

Ольга Ивановна в белом капоте работала на балконе; около нее сидела Паша. Они обе встали и сошли с балкона ко мне навстречу. Улыбки на всех лицах! Здесь-то я царь! Я поцаловался с Ольгой Ивановной, поздоровался с Пашей и бросился к тетке. За чаем заставили меня рассказывать все подробно; и я рассказывал, но умолчал о своем уроне. Немного погодя я проходил через коридор, встретил Пашу и погладил мимоходом ее по голове, а она схватила мою руку и крепко ее поцаловала... И вот с этой минуты я влюбился в нее.

Мы разошлись, но я весь вечер был рассеян и отвечал тетушке невпопад. Она даже бранила меня матерински за это и хотела, "настукать лоб". И как шли к Паше маленькие косы в этот вечер!.. Милая моя Паша! Я долго не мог заснуть!

На другой день утром я, заставши ее одну в диванной за пальцами, умолял прийти ночью в аллею.

-- Страшно! -- отвечала она, -- вы разве не слышали, как сова всю ночь вчера кричала?.. У нее есть дитя в дупле, в яблоне направо. Я обещался убить сову; зарядил ружье и, не

найдя самой совы, вынул совенка, посадил его на ветку и безо всякой нужды расстрелял на 10 шагах. Паша обещалась выйти в аллею. Я сгорал от нетерпения и, чтоб сократить время между чаем и ужином, поехал кататься верхом. Месяц светил ярко, и было очень свежо и грустно вокруг, когда я вернулся домой. До ужина оставался еще час.

Тетушка, Ольга Ивановна, Паша и Феврюнюшка сидели на балконе. В саду раздирающим голосом кричала старая сова; я ушел к себе и, не умея писать стихов, выразил в прозе сам не знаю что!

Я недавно читал Шатобриана и помнил ночную песню молодого краснокожего, который говорит, что он оплодотворит чрево своей милой (*je fertiliserai son sein*). Сова, месяц и сырость, Паша и ее мать, коварная Сонечка и ее мать... все это порхало около меня. Я сел и писал как бы от лица девушки к себе. Листок этой рукописи цел до сих пор, и помарок в нем почти нет. Я никогда не мог решиться ни сжечь, ни разорвать его.

"Друг мой! зачем это бледное облако на краю неба? Уже темно, и воздух в поле полон

влажного холода.

Друг мой! душа моя ноет! Я ушла далеко от своих, ушла из дому в поле, а душа все ноет! Как назову я тебе, брат мой, как назову я чувство, от которого млею? Я назвала бы его музыкой дальней смерти, милый мой; но рукам моим так холодно, в лицо из рощи прилетает такой оживленный воздух... Что делать, я не знаю слов!

Всю ночь вчера кричала сова в саду... Брат мой, зачем ты убил ее дитя!., дитя еще невинно, милый брат... Помнишь, и твоя мать была сурова и нелюбима людьми, и отчего же ты так вздохнул, когда услышал вчера вечером жалобный плач совы над яблоней, под которой лежало разбитое до крови, еще нехорошо оперившееся тело ребенка?

Я слышала, друг мой, как ты вздохнул; прости же мои слова, бедные слова одинокой сестры твоей...

Вот видишь свет сквозь поблекшие осенние кусты? Это дом мой, милый брат. Пойдем ко мне... В поле холодно!..

Я согрею тебя у камина, и озябшие руки твои отойдут под дыханием моей любви...

Пойдем же, пойдем, милый избранник мой. Пойдем; душа моя ноет! Там мы долго будем одни в светлой комнате, а в поле так темно, и кругом везде сырость и ночь!"

XXII Я лег в тревоге. Пока в доме все шевелилось, я был еще терпелив; но скоро в буфете перестал звонить Степан; из дальней девичьей тоже не слышалось шума; в окне Ольги Ивановны еще светился огонь. Наконец и он погас... Тогда я весь обратился в слух, дрожал, вскакивал... Вот вдали скрипнула дверь и замолкла, еще скрипнула и опять замолкла (я знал по звуку, какая это дверь). Я ожидал, что наконец эта дверь заскрипит вдруг и коротко, потому что Паше надоест нерешительность. Так и случилось через минуту. Если б она пошла тотчас же смело в девичью, то за этим знакомым мне скрипом щолкнул бы замок на коридорных дверях, потом в сенях завизжал бы блок; но видно, она пробиралась осторожно; между первым звуком и вторым прошло так много времени, что я стал думать: "верно это не она!" Один Бог знает, как я мучился, но на всякий случай был готов. Наконец стукнул замок, завизжала и хлопнула сенная дверь...

Нет сомнения, это она! Она бросилась скорее мимо горничных, чтоб не успели ее рассмотреть, если которая и проснется. Я схватил фуражку, отворил окно, выскочил в сад и поспешил по темной аллее к огороду. За воротами на мостике показалась Паша; она была покрыта большим платком. Я дождался ее в аллее в темноте, и она бросилась ко мне на шею...

-- Ах, мой миленький, это вы! как я дверей боялась, как они скрипят! это просто страсть!

Мы решились идти в поле, к холмам, где был кирпичный сарай. И недалеко, и пусто, и в сарай можно спрятаться -- а в саду караульщики. Паша боялась и зябла, но была на все согласна. Как очаровательно казалось мне ее послушание, ее детская кротость, какое-то уважение ко мне, которое я замечал и в словах, и в робких взорах, обращенных ко мне! Как все это мне нравилось после кокетства и обманов Катюши, после причуд и безвкусия Клаши, после дерзостей Софьи! Когда мы шли с ней по пустой дороге мимо болота и смотрели на огромные поля, покрытые туманом, бедный и бледный ребенок становился как

бы священным для меня... Самая чувственность моя была проникнута такой искренней нежностью, таким умилением, что я вдруг захотел не расставаться с ней ни на миг, завернул ее в свою шинель, и мы скоро дошли до кирпичного сарая. Здесь, обнявшись крепко, сидели мы долго на пригорке и молчали. Я смотрел на это кроткое, отроческое лицо, на этот детский чепчик, на белокурые косички, которые выставлялись из-под него, смотрел на ее глаза, переходившие с тумана и полей на меня, а с меня опять на туман и поля, и все не мог произнести ни слова. Что я скажу ей: "я люблю тебя!" Да, я точно люблю в эту минуту всей душой. А дальше, а жертвы? Я заранее отказался от них. О Паша, милая Паша! Ты не знаешь, с какими аккуратными расчетами начал ухаживать за тобой тот, с которым ты не боишься ходить в поле! Однако я сжал ее руку и, вопреки себе, с усилием сказал:

— Так ты согласна, Паша, полюбить меня совсем?

— Как совсем? Да я просто удивляюсь, как это даже можно чужого мужчину так полю-

бить, как я вас люблю!

-- Нет, Паша... ты не то... Совсем, совсем... Я боялся произнести оскорбительное слово или позволить себе немую вольность. Паша поняла, однако, и задумалась.

-- Вот что, -- начала она, помолчав, -- а что будет? Страшно подумать, душенька! Маменька моя, вы знаете, какая строгая. Она меня не любит, я не знаю, за что. Вот теперь, как мы в город ездили, то и дело, то и дело твердит: "от тебя, от пакостницы, ничего путного не добьешься". Зачем вот не понравилась жениху?

-- А ты бы пошла, если б понравилась?

-- Конечно бы пошла. Как же не идти? Хоть он и гадкий, очень даже гадкий, а что ж делать -- пошла бы. Заверните-ка меня получше, так холодно... Вздохнув глубоко, Паша продолжала:

-- Да. Я не знаю, за что маменька меня не любит. Вот тятенька покойный -- тот меня любил. Бывало возьмет меня на колени, приласкает, и я его совсем не боялась. Раз маменька взяла и заперла меня в чулан, уж не помню за что. Господи! душенька, вот страх-

то был! Темно; крысы визжат, дерутся... А я так и плачу, так и плачу. Только тятенька пришли из церкви, узнали и отперли мне. "Не плачь, говорит, Пашенька". Я и перестала плакать. И сам бледный тятенька! Очень он меня жалел... О чем вы задумались?

Что мне было сказать ей? О чем я задумался! Я был в невыразимом смущении; я смотрел на туманные поля: это были те самые поля, по которым, за непроходимым зимним садом, шел когда-то жених во полночи. Когда-то! Когда я верил всей душой, когда отец Василий пел у нас вечером в облаках дыма. И я оскверню шаткой страстью этот чистый образ, я обману его? Нет, я этого не сделаю! Я встал и сказал ей: "Пойдем домой". -- "Пойдемте", -- отвечала она вздохнувши. И мы пошли назад. Ей не хотелось еще скоро расстаться со мной; она проводила меня в аллею, и тут мы простились и обнялись в темноте. Сова, как и вчера, кричала жалобным, страшно жалобным голосом. Паша уходила, шумя сухими листьями. Я провожал ее глазами; она тоже остановилась на конце аллеи перед огородом, и на светлом месте между деревьями я еще

раз рассмотрел ее клетчатый платок и детский ее чепчик.

-- Прощайте, миленький, прощайте! -- сказала она мне оттуда. XXIII

Спать я не мог; зажег свечу и долго ходил по комнате, но все было душно; я вышел в залу и ходил по зале.

-- Что делать? Оставить ее? Но как оставить, когда она перед глазами? А охлаждение... А Модест с Катюшей?.. Обеспечить -- разве все?.. А вся эта неловкость,

недоразумения, фальшивые слова разлюбившего?.. А ужас быть хоть наедине с самим собою, хоть раз в жизни похожим на Модеста? И что скажет Юрьев?.. Он говорил, что именно тихую, робкую и физически холодную девушку грех обольстить, что она не найдет в страсти той отрады, которую находит пламенная женщина. Мне было страшно жаль ее, но самое сострадание только удвоивало желание обладать ею. Бедная моя Греция, где ты? Где же тот благословенный угол, где я могу найти любовницу без упреков и без разврата, бескорыстную и бесстрашную жрицу любви? Неужели жизнь моя должна идти

так, как жизнь всех? Да это лучше б и не родиться! Да лучше страстный порок, чем гнусная посредственность! Страстный порок -- так! Но если связь с этой бедной девушкой приведет меня к другого рода пошлой посредственности, к дряхлым колебаниям чувства, к стесняющему дыханию страху низости и страху жертвы? Если мне суждено будет вызвать в чьей-нибудь душе, в каком-нибудь, даже далеком отсутствующем, положим в душе Юрьева или Софьи... если мне суждено будет вызвать презрительное сожаление, не лучше ли отказаться от всего, от Греции, от самой жизни... Снесу ли я всю тяжесть ответа? Жениться после? Душно! Страшна худоба после родов, синие жилки на поблекших руках; но это все не так ужасно, как моя собственная слабость... Но если мне суждено, упившись разом и сладострастием и состраданием, насладившись ее отроческим телом и мягкой душою, если мне суждено слышать или только подозревать, что кто-нибудь осмелился сравнить меня с Модестом, если кто-нибудь скажет про меня: да! он думал, что любит; он любил свое воображение, а не ее!.. О, Боже

мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным, как свежий осенний день?.. Не лучше ли это отваги с пятном на душе, той отваги, которой увлекся Модест, почуяв вокруг себя презрение самых близких людей? Эта светлая, одинокая жизнь не лучше ли и душевного брака, где должны так трагически мешаться и жалость, и скука, и бедные проблески последней пропадающей любви, и дети, и однообразие?.. Уж не лучше ли жениться, дать имя и бросить после? Тогда опять один и свободен! Но все порицают это... быть может, оно и в самом деле гадко. И неужели вся жизнь такова? Или это только моя? Но чья же лучше... чья? Куда не обернусь я, везде вижу слезы, и слезы пошло утертые, и опять слезы.. Чью жизнь я предпочту моей? Тетушка не жила и не живет, приближаясь к могиле... Юрьева ждут только лишения и одиночество; недаром же говорит он, дьявольски весело смеясь, "терпи, казак, атаманом не будешь!" Яницким быть стыдно, потому что он не мыслит, мало знает; Клашей -- стыдно, потому что

она жена Щелина; Дашей -- потому что слаба и неверна самой себе, как я; но я по крайней мере мыслю, а у ней и того нет! Софья? Вот это что? Да что! Приданого мало, мать строга, тетка глупа, отца жаль, грустит, может быть, что руки велики и не так хороши, как у других, платьев мало, грустит, что не встретила еще никого, кто бы поработил ее любовью... В этом кривоносом Сальвари она скоро разочаруется... И как бы это было хорошо! Она, быть может, к зиме поймет всю разницу между им и мною... Чему ж я рад?.. Вот мои права на Пашу!.. И как душно везде! Даже великие люди... как кончили они? Смертью и смертью... К чему же привела их жизнь?.. Как жива передо мною картинка, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину!.. Перед ним какая-то дама и негр, обремененный ношей... Как ему скучно! И еще картинка: M-me Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть! Еще я виже Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке... как душно в его комнате! Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано; Руссо муж Терезы, кото-

рая не понимает, кто ее муж... И это еще все великие люди! Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?..

Я схватил наконец фуражку и бросился вон из дома; шел, шел, шел до речки по дороге к селу, походил в холодном тумане по берегу и вернулся домой усталый и прозябший, но укрепясь дорогой в намерении сделать первый истинный опыт воли и отречься от Паша. Я скажу ей: уезжай отсюда!.. Все понемногу утихло в душе моей, и я заснул. XXIV

На другой день поутру я написал записку самой Паше: "Если ты, Паша, себя жалеешь и меня любишь, отпросись ты к матери сегодня же, потом у родных просись к тетке в город и пробудь там до тех пор, пока я уеду в Москву. Если же моя просьба ничего для тебя не значит, так я скажу Ольге Ивановне, что мы с тобой гуляем по ночам, и попрошу отправить тебя, чтоб не вышло тебе вреда".

Паша тотчас же стала проситься домой, и велено было для нее приготовить тележку к вечеру.

После обеда, когда старухи наши легли отдыхать, я долго ходил один, убитый и бес-

сильный, по зале. Дверь отворилась, и Паша вошла, взяла свою чашку из буфета, надувшись и молча прошла мимо меня два раза, и хоть бы оглянулась!.. Я было хотел идти за нею, но, вспомнив, что Юрьев назвал бы такое движение общечеловеческим, смутился и ушел в свою комнату. Не успел я сесть у стола и закрыть лицо, как дверь скрипнула, и Паша печальная, тихая вошла ко мне. Не говоря ни слова, она припала ко мне на грудь, подала мне детскую вилочку из слоновой кости и зарыдала...

-- Возьмите, возьмите, -- говорила она, -- возьмите на память, миленький мой, ангел мой, возьмите на память. Я не нашла ничего другого... Прощайте, прощайте, прощайте! -- повторила она с необыкновенной силой и громким плачем, обливая мои руки слезами и цалуя их...

И я цаловал ее руки... И чего бы я не дал в эту минуту, чтоб она осталась еще хоть на одни сутки!

Через час какой-нибудь тележка загремела по мосту. И я опять не спал всю ночь. Пашу не отвезли еще в город на другой день, не отвез-

ли и на третий. Февроньюшка была у нас и сказала мне тихо, не называя ее по имени: "плачет очень!" Я ходил, как безумный, по дому, по саду; ни о ком и ни о чем, кроме ее, не мог думать, не спал ночей до рассвета, стонал один, хватал себя за голову. "Зачем, зачем я упустил ее? Вот она, кроткая, невинная!.. Что бы было! что бы могло быть!.." В саду иногда я брал толстый сук и бил им себя по ногам, по рукам, по спине до тех пор, пока кожа краснела; аппетит потерял; язык и глаза пожелтели. На четвертый день я велел оседлать лошадь и поехал в то село, где жили родные Паши.

Как войти в дом? Невозможно! Мать, сестра! Все знают! Все увидят и догадаются. Объяхал за овинами, чтоб кто-нибудь из церковников не увидал меня, постоял в роще поодаль; наконец решился и выехал на улицу.

-- Поди сюда, -- сказа я одной старушке. -- Не знаешь ли ты, увезли Пашу-поповну в город?.. Меня барыня из Подлипок прислала...

-- Сегодня утром увезли...

Я повернул лошадь и скакал, не переводя духа, до дома... Но и дома было не лучше. Нет, бежать, бежать отсю-да!.. Два дня еще коле-

бался. Потом сказал тетушке робко (страшно было ее огорчать - все разъехались от нее):

-- Я уеду.

-- Что ж, дружок, поезжай; развлекись, моя радость... отдохни... Куда ехать? В Москву еще рано: Москва пуста. Юрьев в деревне; Катюша с месяц тому назад уехала к Модесту. К Яницкому? Недавно Даша звала меня в письме так радушно, говорила, что у них так хорошо, так много тени, цветов и книг; писала, что он день ото дня больше любит ее... Туда, туда, где живут не так, как все, в убежище

противозаконной любви! Правду говорила Чепечница Петровна: "незаконная любовь слаще законной!" Не нужно мне слуги: я хочу быть один! В 20 верстах от нас шоссе идет на Москву, а там опять шоссе почти вплоть до Яницкого. В мальпост, и туда!..

-- Я еду к ней, -- шепнул я Ольге Ивановне. Ольга Ивановна отвернулась к окну и отвечала:

-- Посмотрите, каково ей... И скажите ей, что напрасно она меня обманула; я и теперь готова ей помочь, если она будет в горе... Прощайте!.. Мальпост пришел на рассвете. Пого-

да была ясная, и я взял наружное место. Громада покатила под гору, промчалась по мягкому мосту, в гору... и городок наш скрылся. Солнце вставало; мы скакали шестериком во весь опор; кондуктор трубил. Рощи, зелень, деревни, обозы -- встречались и пропадали... Образ Паши бледнел все больше и больше, и спокойное сознание честного, удобного поступка начинало занимать его место.

"Что ж, -- думал я, -- если я не могу играть и блистать перед людьми, как лихой конь, поташу в гору воз, как деревенская лошадка! Юрьев сказал же мне однажды: "Надо много, много дарований иметь, чтоб частыми успехами не опротиветь людям". Впереди такая бездна дней! И не одни Подлипки, не одна Москва на свете!.. Прощай, прощай, Подлипки! прощай, милая Паша! благослови тебя Бог на спокойный и добрый путь, а я теперь залечу далеко от всех вас и забуду все старое!" Вперед, вперед, молодая жизнь!

XXV Шаг за шагом светлела моя мысль... Как легко казалось тогда справиться с будущим!.. За одну картину будущего можно было бы отдать совесть на вечный позор... как от-

дал ее Модест... Ведь и он не заслуживал одних только упреков! Когда лет через пять после всего рассказанного случай опять свел меня с Катей, поблекшей, больной и павшей, и я узнал незадолго до этого с содроганием, что она умирает, с каким негодованием закипел я на Модеста!

-- Зачем вы ездите всегда в карете? -- спрашивает его одна дама.

-- На воздухе так портится прическа... Я принужден завиваться, потому что у меня мало волос.

А я вдаль вижу курган, покрытый кленом и рябиной, лозник на берегу круглой сажалки... Розовое ситцевое платье и синяя лента на шее, и цветущее лицо... Душа, быть может, полная простых надежд... Ему было отдано все. А он? Старая история -- полная для меня всей новизны пережитого! Он гремит в карете, купленной на женины деньги; зеленые концы черного галстука вовсе нейдут к бледному, жиреющему лицу, сюртук от лучшего портного и скучная, как сказывают, добрая жена!

Это все издалека. Но вот я в давно знако-

мом переулке. Смеркалось, когда я вошел к ней... Перед этим узнал я, что она жива и поправилась. Поправилась, да... мне казалось даже, что она выросла!.. Хотя это уже не та Катя, что плясала по вечерам в людской, не та, что плакала по детям, отданным в воспитательный дом и умершим потом, не та, что бегала дикой девочкой по рощам и коноплям... Но все тот же очерк продолговатого лица, все та же болтливость и радость при встрече со мной.

Она вызвалась провожать меня.

-- Откуда у тебя это такой салоп и шляпка славная?

-- Сама купила. Модест Иваныч не забывает меня. Господи! Ведь прикатил, когда я заболела. Он был в Москве, узнал, что я больна, и сейчас ко мне. Я ему тут сгоряча, знаете, этак... Уж, конечно! у меня кровь даже горлом шла перед этим! Я ему, как есть, все начистую. Конечно, говорю, вы можете на меня сердиться, как вам угодно, а ведь вам не следует оставлять меня. Что вы со мной сделали? Разве я такая была? С тех пор аккуратно высылает деньги и пишет, что нужно...

-- А с женою как они?

-- Он говорит, что она ангел. А я слышала, что она на него прикрикивает. Что ж, мудрости большой тут нет: имение ее! Поверите ли, волокита такой же, как был... Уж он ведь и не так молод теперь... Толстый такой стал, здоровенный, а в деревне спуску никому не дает. А все-таки, если по-божески судить, он не мог на мне жениться... Я не верила этому... Пусть не забывает только, а то трудной службы я теперь нести не могу: грудь все болит... Ах, Господи, вспомнишь молодость-то! Помните, как я вас обманывала? Обещаю прийти во флигель, а сама в людскую, да под балалайку и пляшу! Вот бы, кажется, Бог знает что дала, чтоб в Подлипки в наши опять!..

Мы простились под фонарем, и хотя в поблекшем лице, в игривости, уже напоминающей изученность, не видится мне та простодушная, деятельная и грубоватая Катя, которая с такой силой вертела колесо на колодце тетушкина двора, чтоб не утруждать других людей, однако, благодаря щедротам Модеста, живет она спокойно пока, отдыхая от порочных необходимостей, ввергнувших ее в бо-

лезнь...

Жертва не возбудила вблизи глубокого со-  
страдания, а он предстал в смягченном виде.  
И я не удивлюсь, если завтра же или через  
три года, пробудившись на минуту от духоты  
семейного эгоизма, стеснит он себя в чем-ни-  
будь и обеспечит судьбу Катюши!

Я благодарен ему за пример: память об от-  
це Василье одна не спасла бы Пашу... Не по-  
ступок мой особенно дорог мне, но мне доро-  
го то, что хоть одно лицо из первой молодости  
моей осталось в неподвижной чистоте;  
все обманули, все разочаровали меня хоть  
чем-нибудь -- одна Паша навсегда осталась бе-  
локурным, кротким и невинным ребенком.  
Она недолго жила после встречи со мной. Ка-  
питан немного постарел, хотя и повторяет  
двадцать раз совсем не смешно, что он на  
точке замерзания, и мало уже теперь меняется;  
он часто ходит по вечерам ко мне, пьет  
чай и курит трубку. Февроньюшка стала по-  
лучше; лицо перестало предупреждать года, и  
виски примазаны все также колечком. Она  
замужем за одним управителем из дворян, го-  
ворят, смирным человеком, иногда гостит у

отца и все хочет, чтоб он продал мне свой клочок и переселился к ней. Капитан вчера заходил ко мне и вспоминал о Паше,

-- Важная девушка была! -- сказал он, -- простота была, ей-Богу! просто удивительная! Он ведь пил и теперь сильно пьет!

-- Кто это пил?

-- Муж-то ее. Он ведь, знаете, крестник мне... Тимофея Гаврилыча Ерохина сын. Знакомый человек был, в уездном суде служил. А мне к тому времени пришлось в городе быть... Я и крестил сына-то! ей-Богу! Через это он и знакомство с Пашей свел. Да. Вот извольте... Как тетушка ваша померла... вас не было... ну, он ко мне и приезжай на Петровки. Я, признаться, думал Февру за него пристроить. Ну, где ж! Увидал ту... Она о ту пору гостила у нас. Такая, ей-Богу, задумчивая была; нет, нет, да и заплачет, а он и расходись вдруг: "Я, говорит, жизнь за нее отдам!.." Ей-Богу! Такой разгульный был человек. Сейчас гитару это и все, да и ну стонать: "С ней любви одной довольно!" И стонет, и стонет... А она пуще плачет. Мать лиха больно была, шельмовская попадя!.. "Эй, говорю, Митя,

полно стонать... душу всю вытянуло". -- "Эх, говорит, дай пожить". И моя тоже руку держит им. Что вы смеетесь? Не шутя. Вот и женился. Приехали мы к ним в город чрез годик, так осенью. Ничего. Худа только больно она стала. Я говорю: "Что это ты, Прасковья Васильевна, такая выдрочка стала?" А она засмеялась... -- "Что это вы, Максим Григорьич, говорит: я не худа". Вечером уже пришел на втором взводе. Сапоги все и голенища в глине. "Ну, кричит, Паша! снимай с меня сапоги сейчас! Ты моя раба!" -- и понес... "Полно, говорю, Дмитрий, видишь, человек больной, нежный... оставь ее". -- "Нет, она, я знаю, пренебрегает мною!" А та, голубушка моя, ни словечка, агнец этакой! и ну тащить сапоги. "Подожди, говорит, Митя; я сейчас за чистыми носками схожу; а ты на диван пока ноги поставь!" Хоть бы что! А он как закричит: "Не надо мне носков! кричит, не надо! Я, говорит, скот! Подобие скота! Скотина носков не носит!" Да как были ее руки в глине -- ну их целовать... "Ты, говорит, моя жена! ангел небесный, а не раба!.." Такое свойство у него... ндравен уж очень, а ее любит. Вы думаете, это его

Гаков, Семен Алексеич, спойл? Ни! Боже мой! Не верю. Грусть, тоска одолела: после ее смерти спился; в родах умерла. Пятеро суток страдала. Февра моя у ней тогда была. Через Дмитрия и замуж она вышла, Шевра-то. Он посватал Николая Филипповича. "Благодарю, говорит, вас, Февронья Максимовна!" Шут его знает! пропал малый, а веселый молодой парень! Право! В комиссии тоже его все любили, и начальство им было довольно. Приедет, бывало, еще женихом ко мне сюда. Увидит -- мужики молотят у меня на гумнишке. Цеп -- да и давай крестить!.. Я узнаю в рассказе капитана мою милую Пашу, и хотя муж ее, как видите, служил в комиссии и любим был начальством, но он для меня больше человек, чем многие честные и умные люди...

[1] Датируется 1852 г. Впервые: Отечественные записки. 1861. Т. СXXXVIII. С. 1-92, 319-374. Т. СXXXIX. С. 1-78. Здесь публикуется по К.Н. Леонтьев "Египетский голубь" М., 1991 (Часть I, главы I-V); Константин Леонтьев Полное собрание сочинений и писем. Т. 1. СПб, 2000 (окончание Части I и части II, III).